ТОМСКИЕ ЧУДЕСА

ТВЕРСКАЯ ПЯТЬ

Там, где Тверская спускается к Ушайке, в прошлом был прорытый ручьем овраг, Как бы на дне бывшего оврага стоял наш дом, там, где улица поднимается в гору. Дом был врыт одной стеной в косогор.

На первом этаже дома, в большей части его жила семья Зиновьевых. А в маленькой однокомнатной квартире, примыкавшей к стене, врытой в землю, жили Стариковы.

Сыровато было у них, но я часто играл там с дочкой Стариковых Галей. Она была на пять лет старше меня, черная, как Галка, имя ей соответствовало.

То она изображала из себя врача, сверлила мне пучиной молочные зубы и гудела при этом, подражая бормашине. То я ездил на ней верхом.

Галька учила меня пить чай с блюдечка и многому другому. Однажды она вылила за окно загустевшие красные чернила и велела присыпать песком:

-А то подумают, что кровь, и привяжутся.

-Так ведь можно сказать, что это чернила были.

-Ага! Придут крючки, сколько нервов вымотают!..

На втором этаже было две квартиры: наша и Есманских. Кухня у нас была общая.

Жена Есманского, Ксения Никитична, шила в своей комнате на ручной машинке из сиротской материи юбки и платья, перелицовывала пиджаки и продавала на толкучке.

Я иногда подходил к ней, просил рассказать сказку. Никитична соглашалась не сразу:

-Расскажу, если покрутишь ручку швеймашины. Я добросовестно крутил ручку, а она говорила.

Но герои в ее сказках вели себя странно: коза съедала своих семерых козлят и самого Серого волка, баба Яга влетала в своей ступе в окно квартир, и побивала огромным пестом всех людей, а в первую очередь детишек. Волшебник снабжал всех такими молодильными яблоками, которые были начинены порохом, взрывались у человека во рту, да так, что у того отваливалось полгоповы.

-Нет! - кричал я, заливаясь слезами, - не так надо

-Я лучше знаю, - отвечала Никитична.

Иногда, в разгар нашего спора являлась мать.

-Развесил уши! Она на зло. Наслушаешься, потом кричишь во сне.

Матери случалось ругаться с Никитичной и на кухне. Стол был общий, и, бывало, мать говорила соседка нарочито тихо:

Мне надо раскатать тесто, а вы все заняли своими чугунками. Она смотрела упрямыми зеленоватыми глазами в запавшие, острые, темные глазки Никитичны.

Та стояла, картинно расставив ноги, в уголке рта тлела вечная папироска-гвоздик, она встряхивала черными, коротко стриженными "под фокстрот" волосами. Отвечала матом.

Случалось хуже. Наш пес иногда проскальзывал на кухню, соседка даже подкармливала его. И однажды вдруг Никитична огрела нашего Маркиза поленом. Мать назвала ее садисткой, отвергла обвинение в том, что якобы пес гадит на кухне, полезла под стол:

—Это же кал кошачий, ах, вы!

Мать грозила соседке страшными карами, говорила, что отравит ее и кота Ваську, Мне мерещилась Никитична, валяющаяся на полу рядом с мертвым же котом. Темные глазки соседки уже остекленели, а во рту еще дымится папироса-гвоздик.

Между тем, кот и пес доедали на полу рыбью требуху, и не было ни ворчания, ни шипения, животные как бы задались целью показать людям, как надо жить.

С плохими предчувствиями ушел я из дома, а когда нагулялся и вернулся, застал мать и Никитичну, сидящими за столом в обнимку и поющими грустную песню: "Среди долины ровныя". Они дали мне чаю и шанег, а сами налили себе из графинчика водки.

Если к нам кто-то приходил и стучал внизу в дверь, то мы в своих комнатах ничего не слышали, ближе к сенцам располагалась квартира Есманских. Спускаться вниз по лестнице приходилось дочери Есманских, Таисии.

Она была темноволосой и близорукой, как и мать, училась где-то на чертежницу, пела под гитару. Легкой и тонконогой Таисии сбегать вниз вверх ничего не стоило, но Никитична кричала, что мы - бары-господа, а они нас обслуживают.

Отец разрешил этот конфликт, устроив звонок. Колокольчик в прихожке был привязан к проволоке, спускавшейся по катушкам вниз. Там, сквозь дырку, проволока была пропущена наружу. Дернет посетитель за проволоку, в прихожке звонок звенит.

К Есманским звонить три раза, а к нам -шесть. Эпектрозвонков тогда не было, контролеры следили, чтоб в каждой комнате была лишь одна лампочка самой малой мощности.

Отец придумал еще один блок, чтобы можно было, не спускаясь вниз, отпирать дверь. Дернешь вверху эа проволоку, и крюк выскочит из петли.

Есманский работал на конфетной фабрике пряничным мастером. Вечерами на кухне сапожным ножом он вырезал штампы для печений. На торце полешка. Еще вечерами он плел корчаги и сети. Он повил рыбу не только летом, но и зимой. Иногда с ним на рыбалку отправлялся и отец. Окуни и ельцы, которых приносили рыбаки зимой, казались белыми варениками. Их опускали в таз с водой, и происходило чудо. Елец начинал в воде шевелить жабрами, а потом плыл медленно, потом быстрее, и вдруг пускался в бешеную гонку за самим собой по кругу.

Многие в нашем дворе работали на кондитерской фабрике, которую мы ласково называли "Конфеткой". За нашим окном был виден ее забор, криво взбиравшийся по косогору, поросшему березами и шиповником. Мне была видна лишь труба фабрики, но ветер доносил ее дым, пахнущий медом.

Фабричный гудок гудел шесть раз в день, и многим заменял часы. Но кочегар давал гудки, глядя на ходики в проходной. Ходики иногда отставали или спешили. Случалось, кочегар напивался и вообще не давал гудков, тогда округа жила как бы вне времени, соседи нередко приходили под наше окно и, сложив ладони рупором, кричали:

-Который час?!

Отец был часовщиком, у нас на стенах всегда тикали самые разнообразные часы. Они принадлежали клиентам, отец проверял их ход после ремонта.

Поскольку дом был врыт в гору, то была в нашей квартире особенность. Выглянешь в окна, выходящие на улицу, видишь: да, живем на втором этаже, а в окна, обращенные к горе, можно выйти, как в дверь, прямо в сад к соседям Потапочкиным. Летом в открытые окна протягивали ветки сирень, ранет и черемуха.

Потапочкин был метранпажем. Это напоминало мне звучный титул из сказки. Но наш паж-метранпаж не носил за королевой шлейф платья, не было у него малинового берета, он был важен, молчалив и появлялся в своем саду то с лопатой, то с граблями.

В окна, выходившие во двор, я видел сарай с навесом и флигель, где жили Усачевы и Дубинины. Усачев был на фабрике кладовщиком, а Дубинин Василий шофером.

За флигелем был огород, где жильцы усадьбы выращивали разные овощи, а еще дальше маленькие избушки, где жили престарелые Касьяновна и Северьянович, и ютившиеся у них на правах квартирантов, Ван Дзины. Женщина и две девочки.

Слободка наша была школой городской жизни для вчерашних деревенских жителей. Они чаще становились грузчиками, возчиками. Ювелиры-то секреты на ушко передают, а на профессора полжизни учиться надо. Толи депо пойти в милицию. Гаркнешь: "Предъявите документики!" профессор и то испугается.

Бывало, днем крутили хрюшкам хвосты, гребли навоз, а ночью сдрючивали. с прохожего шубу.

Старожилом усадьбы был наш сосед Есманский, он и рассказывал, что раньше все здесь принадлежало купцу Морозову. Купец был голубятником. От тех времен остались на чердаке дома пласты сделавшегося голубиного помета.

-О, Марфа Баканас! - восклицал Есманский, и меня поспешно выставляли с кухни. Но я ухитрялся подслушивать. Эта самая Марфа распоряжалась женщинами, втыкавшими в шляпки красные розы. Вечерами женщины стояли у наших ворот. И здесь загорался во тьме красный фонарь, чтобы мужчины не заблудились. И всю ночь в доме играл граммофон, и звенели бокалы.

Знакомый Есманского, поляк, потом женился на Марфе Баканас, она стала важной дамой, а публичный дом закрылся. Но поляк не мог забыть прошлого жены. Да как забыть, если по вечерам в дом стучались бывшие посетители. Поляк переехал в Заисточье, но и там не успокоился, напившись пьяный, кричал:

—Я ж тебе, курва мама твоя, з бардаку взял!

Есманский мастерски произносил фразу, я как бы видел несчастного поляка. Несмотря на более чем юный возраст, я все же думал, что на месте этого бедолаги поискал бы иную жену.

Вольготно жилось в слободке зимой и летом. Коньки да лыжи, санки, снежные забавы.

Каких снеговиков мы лепили! А летом купание одно чего стоило! А в начале лета гудели возле нашего дома на горке майские жуки. Наловишь, оторвешь им крылышки, посадишь в спичечный коробок. Они скребутся, а ты слушаешь "патефон". Однажды дал матери послушать, а она говорит

-Тебе бы руки-ноги оторвать, ты бы тоже запел, как патефон!

Откуда к нам являлись такие забавы? Мы не знали. Привяжем ниточку к рублю, он на дорожке, а ниточка протянута в ограду и зажата у меня в кулаке.

Смотрим в щели из ограды на дорожку. Дородная тетка воровато оглянулась, наклонилась, только хотела поднять рубль, я за ниточку дернул, фонтанчик пыли и рубль исчез.

Не сразу поняла. На наш заливистый смех ответила матом, и вся покраснела, как рак.

-Эй! А еще губы накрасила!..

Где мы этому научились? Видимо, по капле впитываешь все, что есть вокруг. Слободка наша была школой городской жизни для вчерашних деревенских. Они чаще становились грузчиками, возчиками. Ювелиры-то секреты на ушко передают, а на профессора полжизни учиться надо.

То ли дело в милицию поступить. Гаркнешь: "Предъявите документики!" профессор и тот вздрогнет. Бывало, днем крутили хрюшкам хвосты, гребли навоз, а ночью сдрючивали с прохожего шубу.

На Петровской глубокий овраг. Отец с матерью из гостей шли поздно ночью. У матери браслет-змейка из чистого золота, глаза у змейки изумруды. У отца часы тоже золотые. С двух косогоров скатились темные фигуры, в руках ножи блестят. Нет пути ни вперед, ни назад. Мать браслет снимать стала, и вдруг голос:

-А! Это вы, Николай Николаевич? Извините, не узнали. Матрена Ивановна, не волнуйтесь. Хотите, до дома проводим, чтоб никто не обидел? Нет? Ну, приятного вам отдыха...

Деревенские чаще всего шли в банды. Сила есть, ума не надо. Скажем, карманник должен быть и актером, и психологом. Сисе вон, с младенчества ладошку бинтовали, чтоб длиннее была. Нет, нам чего попроще

На нашей кухне звучало немало преданий о легендарных налетах.

В конторе ассенизационного обоза на Ярлыковской. Там налетчики связали и положили под стол канцеляристок и заведующего. Очистили сейф и оставили записку: "Ваши деньги из гавна!"

Был случай в доме на окраине Мухинской. Ночью воры пробуравили дыры в наружной и внутренней дверях. Отодвинули засовы, сняли крючки. Хозяева мирно спали и проснулись в дочиста обобранном доме. И опять была записка: "От вора нет запора!"

Многое к своим шести повидал я в слободке.

Цыган переводил через Ушайку медведя по отмели. Парни, мужики и детишки принялись швырять в зверя прибрежными голышами. Медведь дико ревел, и это подзадорило толпу. Тяжелые каменюки стали попадать и в цыгана. Он попытался напугать толпу, делая вид, что спускает с цепи медведя. Один мужик, обрадованный таким оборотом дела, заорал:

-Дарья, тащи двустволку! Хичника на людей пущать? Застрелю! Цыган понял, что толпу эту ничем не проймешь, быстро побежал, увлекая за собой медведя. Он кричал под градом камней:

-Да люди вы или звери, в конце-то концов! Вы же артиста убиваете!

Летним утром я был очень удивлен, увидев на нашей лавочке изысканное общество. Сидели там известные в околотке люди, с которыми каждый мальчишка мечтал подружиться. Карманник Сися играл на гармошке. Две блатные девицы пели частушки. Одну из них на Тверской именовали Верой-дурой. Однажды я столкнулся с ней. Она уставилась на меня пьяными тазами:

-Что? Вера - дура? Вера не дура, так и скажи всем соплякам!

Вера ходила, склонив голову на бок, рот у нее всегда был полуоткрыт и слюняв. Но это происходило оттого, что в воровской драке ей перерезали сухожилие на шее. Вообще-то она была достаточно умна, чтобы успешно торговать краденным.

На лавочке я увидел не только ее, но знаменитого Дюдю, двух казанских парней, и Мишку Шмона, который всегда крутился возле взрослого ворья. Я тоже присел на лавочку. Она у нас толстая из цельной лиственницы, вся изрезанная надписями. Приятно, что из других домов к нам посидеть на лавку идут, значит лучше.

Частушки мне надоели, и я пошел домой, пить хотелось. В сенях у нас кадка с холодной водой, в ней всегда ковш находился, хвостиком за край бочки прицепленный.

Вдруг, смотрю, на веранду из квартиры Есманских вылезает известный вор-потихушник Витька Урас, а в каждой руке у него по узлу.

Я тогда не знал, что настоящие воришки на "мокрые" дела никогда не ходят, и перепугался: вдруг Урас меня тут прирежет, чтобы свидетелей не было? Вбежал на кухню белее мела, мать сразу это заметила:

—Ты что? Заболел?

Я ей на ухо сказал. А она крикнула Есманским:

— Вас обокрали! Держите воров!

Есманский кинулся на улицу, позвали соседей. А Мишка Шмон говорит:

-Вон, дяденька, вор-то с узлами на крышу залез! Где? На трубе! Никитична всплеснула руками:

-Ай, дурной! Они тебе глаза отводят. Вон он вор, с узлами бежит, вон уж через Ушайку перебежал, догоняй, мать твою за уши!

Витька бежал по Петровской, в одной руке держал два узла, а в другой у него были каленые орехи, он их щелкал на бегу, его хорошо было видно.

Толпа догонявших приближалась к Витьке, он обернулся, сплюнул скорлупой, крикнул: Наддай! и так замелькал ногами, что сразу далеко оторвался от преследователей, запыхавшихся на крутом подъеме. Он помахал им и крылся в проулке.

Никитична набросилась на певцов:

-Пособники!

-А мы -чо? Мы ничо? -сказала Вера-дура, которая не была дурой, мы частушки поем. Али лавочки жалко? Так мы на другую пойдем...

Отец про эти дела иногда с гостями говорил: "Сибирь. Потомки ссыльных, беглых, каторжников потомки. Да и переселенцем не каждый способен стать, а только самый отчаянный...

Однажды я спросил его:
-А ты, чей потомок? Беглых или ссыльных?

-Мы саратовские. Отец мой в Саратов с Украины приехал. Знаешь, наша настоящая наша фамилия, может, украинская, может, кавказская. Как? Жила на Украине семья Порохненко, где-то возле моря. Может, порох в фамилии не зря звучит. Может, это казаки были.

Была у них дочь Оксана. Говорят, однажды у этих Порохненко остановились горцы, продававшие лошадей. Один решил на Оксане жениться.

Вскоре явился гонец: война на Кавказе!

Горец уехал, а потом Оксане привели белого коня, накрытого черной буркой, передали ей, как невесте этого горца, шашку, острый кинжал и папаху.

Погиб горец-то. Вскоре родители отдали Оксану за батрака, за Кпимычева. Родилось у него много детей, а старшего он не любил, так как тот обличьем чисто в горца вышел.
-Чего ребенку голову морочишь? Что он еще понимает? А я любил слушать рассказы отца о дедушке, Николае Федоровиче, которого никогда в жизни не видел.

Несколько раз мы ходили с отцом по Красноармейской за город. Улица эта была застроена деревянными дворцами. Их отделка напоминала кружева. Светлую теплоту тесовой обшивки подчеркивал темный фон зубчатых пихт и елей.

В конце улицы мы миновали развалины, и вышли к кладбищам, напоминавшим обширные пустыри. Здесь в бурьяне и молодой поросли кустарников там и сям торчали кресты, полуразрушенные надгробия. Мы постояли возле осевшего холмика и покосившегося креста.

Дальше я увидел уже не кресты, а камни, на которых были выбиты полумесяцы и странные письмена. Отец сказал, что это по-арабски. Сказка про Синдбада Морехода. Но - грустная, камни валились в разные стороны. А вон -кресты необычной формы и готический шрифт.

На кладбище пасли скот. Строили дорогу, снося могилы, а возле дороги встали дома.

Через какое-то время могилку деда было уже невозможно не отыскать.
Дед Николай Николаевич в двадцатилетнем возрасте покинул родительский дом, поехал искать счастья в Саратов. Скопил дед деньгу. Женился на дворяночке, приживалке.

По газетному объявлению нашел помещицу, сдававшую в аренду лес. Контракт на двадцать лет. У помещицы было мало пахоты. Арендатор должен был вырубать лес и готовить землю под пашню. Древесину мог использовать по своему усмотрению.
В глухом лесу выросли дома, избы, на лесной речке дед соорудил лесопилку. Пилили плахи, тес, гнули дуги, гнали деготь, скипидар, жгли уголь. Пудами заготавливали орехи, грибы, мед.

Дом. Китайские фонарики. Запах хвои, вина, воска. Обломки фарфора под каблуком, звякающая бубенцами тройка у крыльца.
"Черкесец" ходил вместе с парнями и девчатами колядовать. Когда в ночь перед рождеством, загадывая суженого, невесты бросали за ворота башмачки с ног, он собирал их все в мешок, а утром устраивал "распродажу": один башмачок один поцелуй.

А в подвале дома стучал печатный станок типографии народников. Похожая на девочку-подростка, молодая жена рожала "черкесцу" одного за другим сыновей.
Однажды он сжег собственный дом, обыска. Старшему сыну было тогда шестнадцать лет, младшему четыре. Бросили почти всё нажитое, вымазали лица сажей. И на нескольких подводах пустились в путь под видом погорельцев.

Лишь портрет жены привез дедушка в Томск. Есть у меня копия с этой фотографии. Молодая бабка-то, улыбчивая, добрая. Отравилась в дороге.
Томск дед выбрал потому, что знал: есть в городе университет, хотел дать детям образование. Служил он какое-то время приказчиком, потом стал держать трактир.

Простудился на охоте. Остались братья одни, и стала им обламывать ребра суровая жизнь. Среди морозной сибирской зимы братьев выселил из дома его владелец: идите-ка, бог не оставит.

После они сменили много квартир, досыта было унижений, оскорблений, пинков. И бог их не оставил.

По вечерам мать с отцом говорили о книгах:

-Мопассан... но это уже слишком... Ничего подобного...

—Хочу еще про Маркиза Карабаса и Синюю Бороду книжки, как у Вовки! -канючил я. Мойдодыра наизусть уже выучил.

У Зиновьевых на квартире жили студенты. Мать говорила:

Самый славный, это который философ, Андрюшей зовут. Вежливый такой, всегда раскланивается. Но уж очень рассеянный. Я сижу в туалете, он дверь дернул закрыто. И что же? Прислонился спиной к двери туалета, стоит, учебник читает. Каково мое положение? Я уже не могу сделать то, зачем пришла. Странно с его стороны, а еще философ.

-Ерунда, - говорит отец. - Разве можно человека в вузе обучить философии? Человек должен делать выводы из жизни... Ну и что же, что я только часовщик? Борьке нечего стыдиться. У Вольтера была часовая мастерская, сыном часовщика был Жан Жак Руссо, а Пьер Огюстен Бомарше, сын часовщика, создал своего знаменитейшего "Севильского цирюльника" именно потому, что хорошо знал жизнь.

-Не забивай ребенку голову! - снова сердилась мать,-надо все сделать, чтобы он стал инженером, по крайней мере, а то из твоих братьев только один грамотный и есть...

Она имела в виду дядюшку Венедикта, инженера-строителя и самодеятельного архитектора.

А я вовсе не был в претензии, на то, что мои дядьки не имели какого-то там документа, именуемого дипломом. Зато все они были веселыми, умели рассказывать о своих необыкновенных приключениях и похождениях. Они умели, и петь, и плясать, и играть на разных инструментах. Застолье с участием отцовых братьев всегда было незабываемым праздником.

ДЯДЯ ВОЛОДЯ

На Маслену пекли блины, и я проводил время на кухне возле печки. Тесто, похожее на мутную водичку, проливаясь на сковороду, превращалось в румяный блин. Иногда блин выходил, если не комом, то и не идеальным кругом. Такой блин не клали на блюдо, а отдавали мне.

Блаженство окунуть блин в топленое масло и отправить в рот! По улицам в *эти* дни пролетали тройки, молодежь каталась с гор да санках. Вот кончится Маслена, и не дадут больше блинов, остатки мясных блюд кинут собакам. А пока предстоял пир, В нашей семье он не начинался только потому, что мы ожидали прихода Владимира Николаевича.

Это был самый загадочный из моих дядек. Если другие отцовы братья бывали у нас каждый выходной, то дядя Вова появлялся очень редко. Он вечно пропадал где-то в тайге, то охотился, то работал в геологических партиях.

Он всегда производил фурор. То он появлялся в сопровождении своры охотничьих собак, то приходил с полупьяными остяками, одетыми в кухлянки и торбаса. Он демонстрировал охотничьи ножи, в ножнах из оленьего камуса. Рассказывал увлекательные истории о своих охотничьих подвигах.

Он подарил нам оленьи рога, на которые мы стали вешать в прихожей шубы и шапки. Матери не раз дарил соболиные шкурки, а однажды вручил ей чернобурку, для изготовления воротника, именуемого горжеткой. Шкурке придали вид живой лисы стеклянные глаза и блестящий носик из плотной материи.

Белые фетровые боты и горжетка одежда начальничьих жен. Так дядя Володя сказал матери, так она с тех пор стала одеваться.

-Запил братец! с прииска вернулся, мудрено не запить, - сказал дядя Саня. Еще пришибут за золотишко, забеспокоилась мать. - Володьку-то? Его пришибить мудрено! - воскликнул отец.

Начались воспоминания.

Владимир и Евгений в трактире познакомились с Тадеушем Тартаковским. Он велел им сменить красные атласные рубахи на английские костюмы. Евгений одел коричневый, а Владимир черный. В трактире, в ресторане. Тадик не играл в карты, лишь делал вид, что пьет вино. Садился против зеркала, так, чтобы видеть карты игроков.

Евгений и Владимир при игре поглядывали на него. Если он касался одним пальцем перстня, а другой рукой брался за верхнюю пуговицу сюртука, знали - дама пик.

Евгений оказался наиболее способным к игре. Он быстро соображал, имел большую чувствительность пальцев. В каждом из рукавов у него была колода карт, всегда мог стряхнуть необходимую карту в ладонь.

Стали гастролировать по городам Сибири. Тадик брал большую часть выручки себе, братьев он одевал по-господски, купил им по золотому перстню и по брильянтовой заколке для галстуков.

Во Владивостоке, в гостинице, Евгений обыграл на крупную сумму японского купца. Владимир валялся в эти дни в больнице, его замучила малярия. После игры, Евгений пошел прогуляться по набережной. Японец подстерег его там и швырнул в спину нож. Удар был смертельным. Евгения похоронили, как безродного, а Тартаковский исчез.

Владимир Николаевич поправился и после гонялся за поляком по всей стране. Не настиг. Затаился где-то шулер. При воспоминании о нем, Владимир всегда зубами скрипел: эх, поймать бы!

Дядя Володя устроился на ипподром конюхом. Высокий, сильный, он ходил & по Томску в самые морозы с непокрытой головой, только перехватывал черные кудри белой лентой. Свояк Николай был лошадником: извоз держал и лошадьми приторговывал. Вскоре и дядя Володя стал владельцем нескольких лошадей.

Однажды свояка, Николая, попросили вернуть в город "кухтеринскую почту", нужно было ее догнать на тракте. Как раз тогда в городе были хозяевами красные. Николаю было лестно. Выехали с дядей Володей. Догнали!

А через неделю впасть переменилась. Ночью в дом на Татарскую пришли вооруженные офицеры, и связали дядю Володю и его свояка по рукам и ногам. Расстреливать их должны были на другой день в четыре часа возле Троицкого собора. Там в зги дни расстрелы шли.

Тесть Венедикта Николаевича, купец Тягунов побежал в штаб. Взятку, не возьмете ли? Взяли. Обещали дать бумагу с отменой приговора, одной только печати на эту бумагу не хватало. Ровно в половине четвертого наконец-то и печать поставили.

Тягунов кинулся в пролетку и принялся погонять лошадей, от Каменного моста до собора рукой подать, но Тягунов все же опоздал. Расстрел уже начался. К дяде подскочил маленький такой усач офицерик. Выстрелил из пистолета прямо ему в рот. Пуля выбила дяде два зуба и вылетела через щеку.

-Ну и сука! сказал дядя Володя, я тебя одной пулей уложу, если доведется. Солдаты дали залп, дядя Володя упал! Ушли солдаты за лопатами. А с деревьев соскочили братья, которые прятались там во время расстрела, всё видели, а помочь брату не могли.

Подбежали к нему. Чуть дышит, кровь из ран течет. Сняли с лежавшего неподалеку мертвяка шинелку, и на ней, бегом-бегом, потащили брата кустами, закоулками в медицинские клиники. Был там хирург, заядлый охотник, которого дядя не раз снабжал лошадьми и собаками.

Хирург велел тащить дядю Володю в морг, пришел туда с чемоданчиком, сделал операцию. Братья принесли в морг шубу, несколько одеял, Сутки дядя лежал в морге, потом ночью вывезли его к знакомым, спрятали на чердаке.

Дядя поправился быстро. Шутил: заросло, как на собаке! Едва установилась в городе власть большевиков, устроился Владимир Николаевич кучером в ПТУ.

-Зачем это тебе надо? - спрашивали братья, - чего ты с этой конторой связался?

-Может, поймают того сморчка, который с двух шагов мимо мишеней попадает, уж я попрошу, чтоб дали его шлепнуть, уж я не промахнусь.

Братья считали это великой блажью: тот офицер, если и жив, то уже где-нибудь в Китае или в Монголии живет.

Но если Владимир Николаевич что-нибудь возьмет себе в голову - переубеждать его, только время тратить. И надо ж было так случиться, что однажды Владимир Николаевич увидел этого самого офицера на вокзале Томск-первый. Офицерик усы сбрил, но дядя его сразу узнал. Взял его за ворот и говорит:

-Ну, что я тебе, сука, там, у собора говорил? Уж я не промахнусь! Привел его дядя в ГПУ и просит:

-Дайте расстрелять! Ему говорят:

-Ты кучер, и знай свое кучерское депо.

Месяца через два дядя в этой конторе стал увольняться, его никак не хотели отпускать, работник он был хороший.

Дядя сказал, что его призвание дышать вольным, таежным воздухом. Отпустили его. Начальник поблагодарил за службу, а потом и говорит:

-Да, ты хотел того офицера шлепнуть? Следствие закончено, можешь осуществить...

Теперь мы ждали этого великана, мать вздохнула:

-Опять, поди, со сворой собак заявится. Он ведь жену этими собаками затравил...

-Продал он собак, сказал отец, я точно знаю, на приисках ему с собаками было несподручно.

Вспомнил я рассказы о том, что дядя с собаками ел из одной чашки, а когда жена его, тетя Маруся, пнула одну из собак, так чуть не пристрелил жену.

Много было у моего дяди приключений. Вверх по Томи на одном острове избушка стояла, жили там братья скопцы, рыбачили, собирали целебные травы, грибы да ягоды. Охотники советовал дяде держаться от этой избушки подальше. Кто, бывало, переночует в ней, исчезает или в реке тонет, а в чем дело не знает никто.

Дядя Володя за утками по кустам набегался, устал, и вакурат к этой избушке вышел. Приходит к скопцам, так, мол, и так, ночевать не пустите? До города далеко, устал, промок. Те отвечают, мол, в чем же дело? Места не жалко, а сами на его трехствольное бельгийское ружье поглядывают.

Подали они свежей ухи, бражки налили. Поел, чайку попросил.

-Мы не городские, мы чаю не держим, ни кирпичного, ни фамильного. Мы травки завариваем.

Выпил ихнего чая, в сон потянуло. Провели в дальнюю комнату:

-Вот тут вам будет мягко, удобно, спокойной ночи, приятного сна.

У дяди ноги стали ватными, в голове шумело, но не идти же, в самом деле, на улицу под дождь? Ладно, думает, подремлю, полежу, как-нибудь ночь скоротаю.

Прилег, не раздеваясь, ружье под бок положил. Веки, словно свинцовые. Понимал в чем тут дело, да хотелось доказать: не возьмут меня травы дьявольские!

На его счастье один из скопцов в темноте о табурет запнулся, дядя вскочил и видит: скопцы с топорами в руках возле его кровати стоят. Схватил их дядя Володя, стукнул лбами и спрашивает:

-Вы куда же это с топорами направились? А скопцы отвечают

-Дров порубить.

-Да где же вы их рубить собирались? Под кроватью?

Забрал он у них топоры, повесил свое бельгийское ружье через плечо и вышел из избушки. Подпер он дверь разбойничьего жилища толстым колом, высадил сапогом окно и крикнул братцам:

- Кабы сухая погода, поджег бы я вас, живите пока...

Через какое-то время братьев скопцов забрали. Сознались они во всем, немало охотничков отравили они сонными зельями, да и утопили потом в реке. Ружья сбывали в Новосибирске, чтобы не попасться.

И вот теперь мы ждали этого великана.

-Я же говорил, что не придет, загулял с больших-то денег, - сказал дядя Саня, заедая первую стопку водки блинами с красной икрой.

В это время на улице раздался крик, слышный даже сквозь зимние рамы.

-Никак Володька кричит? У кого еще такой зычный голос? - сказал отец. Вошел Владимир Николаевич.

-Дайте мне красавицу-сноху облобызать! - заговорил своим густым баритоном мой замечательный дядя. Он очень любил целовать мою мать, и я замечал, что отцу это не совсем нравилось.

-А что это у тебя в руке, Вовик? - спросила его мама, - шапки какие-то? И почему ты весь в снегу?

Ушайку перешел, наскочила мелочь пузатая, один с ножом, другой - с гирькой на резине, остальные - шумовое оформление. Раздевайся - глаголют. Ну, кинул им шубу. Они - подбирать, а я их -окаянным кулаком по святым сопаткам. Двое там лежат, трое убежали. Я с них пять шапок снял. Дарю, сноха!

-Одна-то шапка совсем облезлая, - сказала мать, - поди, еще вшивая, сжечь ее в печи, а то заразу какую поймаешь.

-Ничего! - засмеялся дядя Володя, в кладовку вынеси, все вымерзнет. Пусть Николашка в холодную погоду на рыбалку ее надевает. Зато остальные четыре шапки из доброго меха, на всю жизнь братану носить хватит.

-Шуба у тебя дорогая, меховая, - сказал дядя Саня, золота, поди, много привез?

-Сколько привез, всё мое! Раньше бы шестерку буланых купил, теперь сразу раскулачат. В картишки спущу.

Он взял с дивана гитару и запел любимую песню» где были такие слова:

Меж лесов и полей затерялося
Небогатое наше село,
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело...

Эта песня была его самая любимая, и пел он её со щемящей тоской. А что за этим крылось?

Пели, гуляли всю ночь, я сам не заметил, как уснул. Проснулся утром, а они все за столом сидят, как ни в чем не бывало.

Наконец все стали одеваться, чтобы проводить дядю Володю, я тоже увязался за ними. На улице уже пахло весной, веселые компании встречались нам то и депо.

Вот и все, последний день, блины доедим, сковороды все от масла выжжем, и поститься будем.

Больше я никогда не видел дядю Володю. Работал он на прииске взрывником, заложил в шурф заряд, поджег бикфордов шнур и ушел в избушку, где было жарко натоплено, а кружки были наполнены спиртом.

Выпил свою порцию, а взрыва не было. Думал, что бикфордов шнур погас. Кинулся поджигать шнур вновь. Врыв! Не убило, лишь контузило, но схватил он тогда воспаление легких. Перед смертью выпил свою последнюю стопку спирта, пришел себя, да и сказал:

-Прощайте, жил не коптил, а может, только так, кажется...

КРЕСТЬЯНСКАЯ БАНЯ

Как хотите, но до 1934-го года я ходил мыться в женское отделение, получалось это по причине густоты и спутанности моих волос. Таковыми они стали тоже не без причины.

До 1934-го года мы жили в том же доме, где и после, но только в нижнем этаже, в полуподвале. И комната тогда была у нас всего одна. Это позже у отца появился друг домхоз Штанев, ему отец бесплатно починил одни часы и подарил другие. Штанев и перевел нас на второй этаж.

А когда мы жили еще в полуподвале, был голод. Я его не помнил, так как был тогда мал. Рассказывали родители, но это не то, что испытывать самому.

Отец не только в мастерской хорошо зарабатывал, но еще по выходным продавал на базаре собранные им из лома часы. И приносил иногда в специальном потайном кармане домой то пакетик с горсткой муки, то пару картофелин, то еще что. Так они обманывали нужду.

Однажды мать напекла из муки с отрубями блинов » поставила на широкий подоконник, чтобы они остыли. На минутку всего отвернулась, посмотрела: блинов нет. Выглянула в окошко -никого.

И по ночам у нас сами собой открывались ставни. Тогда отец привел домой огромного пса. Он был помесью овчарки и боксера, весь мордатый, курносый и широкий.

Однажды ночью пёс разбудил нас своим рыком. Мать с отцом встали, а в окошке уж и стекла нет. Наша псина вдруг скакнула в оконную дыру, и кто-то закричал неподалеку от нашего дома. Отец с топором в руке кинулся на улицу. Мать, прижимая меня к себе, кричала:

-Вернись!

На полянке напротив нашего дома отец увидел лежащего дюжего мужика. Пёс свалил его и ронял слюну со своих страшных клыков. Второй мужик скрылся в кустах возле Ушайки.

-Убери его, ради бога! -хрипло попросил верзила.

-Ладно, -согласился отец, -вы только больше сюда не ходите.

После этого случая овец наградил нашу собаку звучным именем-титулом Маркиз. А до этого мы не знали, как ее называть, депо в том, что эту собаку словил на одной из улиц собачник.

Маркиз стал членом семьи. Когда мы оставались вдвоем, я сразу же начинал изображать из себя Климента Ворошилова, а гнедым в яблоко жеребцом должен был быть Маркиз. Он понимал, что имеет депо с малышом, и только если я делал ему чересчур больно, ворчал.

Вы, может, удивитесь, но от этой верховой езды до мытья в женском отделении протянулась невидимая нить.

После нескольких недель моего тесного общения с Маркизом у меня на голове появились такие круглые лепешечки, величиной с пятак. Я расчесывал голову до крови. Мать ругалась и требовала вышвырнуть "эту заразную" собаку вон.

Отец сходил на Тверскую тринадцать, и вызвал участкового доктора Кузнецова. Это был очень тихий и вежливый доктор, он не совал мне в уши всякую гадость, как делали другие доктора, он не лез ко мне в горло ложкой, он просто подул на мои волосы и выписал рецепт.

В тот же день мне намазали голову ужасно вонючей мазью. На другой день меня сводили в центр города, где в приземистом одноэтажном здании, в котором теперь издают газету "Томский Вестник", погрели мою голову какой-то необычной лампой.

После лишаи сошли, а волосы стали так расти, и завиваться, что знакомый отцов парикмахер, прежде чем меня стричь, долго одобрительно цокал языком и сказал:

-Жаль даже ножницами касаться.

-Буденовцы с такими космами не ходят, - сказал отец.

Как ни странно, парикмахерская та до сих пор находится там же, напротив центральной аптеки, хотя ни отца, ни матери, ни того парикмахера, ни моих пышных волос давным-давно нет на свете.

Тогда я своим волосам ничуть не радовался. Почему в дни потрясений, когда в стране бывает голодно и холодно, людей терзает еще и вошь? Мать не терпела никакой грязи, пусть тряпки старые, но все чистые, посуда сияла, за грязь под ногтями могла запороть. И остригли меня, и на улицу почти не выпускали, но волосы мои быстро отрастали, и в них вновь заводились вши. Мать пыталась их вычесать частым гребнем, но зубья ломались, а паразиты в волосах оставались.

Мыться мы ходили в приземистую длинную Крестьянскую баню, окна которой были замазаны густым слоем известки. Отстояв полуторачасовую очередь в кассу, мать сказала отцу:

-Сегодня он пойдет мыться со мной, ты опять не сумеешь промыть ему эти проклятые космы!

Должен заметить, что всегда выглядел моложе своих пет. Отец был среднего роста, а мать была совсем маленькой, но в то же время пропорционально сложенной женщиной. Один мой знакомый писатель про таких дам говорит: женщина в подарочном издании. Вообще-то для конкурсов красоты нынче выбирают красавиц голенастых -под метр семьдесят ростом, но кому что нравится, как говорится.

"Подарочность" моей матери сказалась на мне таким странным образом, что в мои три с лишним года печальной жизни мне давали от силы полтора. Я это переживал весьма болезненно, кто же не мечтает -поскорее вырасти?

И вот, мать, схватив меня за руку, потащила в женское отделение моечной, не обращая внимания на мои стоны, кряхтенье, она принялась. Намыливать мне голову куском серого хозяйственного мыла, мылилось. Оно плохо, это ее злило, она пихала мне пену в уши и кричала:

-Покрути там пальцем! Кому сказала! Хорошенько! Потом проверю носовым платком, пожелтеет -ухо оторву.

Я страдал. Мы говорим про детство -золотая, безмятежная пора. Подумайте:

если у ребенка кто-то сломал любимую игрушку, разве для него это не то же самое, что ваша поломанная жизнь? Если у трехлетнего человечка, найденный им, цветной камешек отберет четырехлетний силач, разве для малыша это не то же самое, что для вас нападение бандитов, потрясение то же, если не больше.

Хрупкое создание входит в жизнь, и всюду, на каждом шагу поджидают его огорчения, разочарования, беды, опасности. Преимущество у него перед вами только одно: у него больше времени осталось для несбыточных мечтаний и надежд.

Каждый раз, когда мы вновь шли в эту Крестьянскую баню, я с надеждой спрашивал:

-Может, сегодня буду мыться с папой?

Но она вновь уводила меня с собой. Возможно, эта пытка продолжалась бы еще год или два, но, попривыкнув к этим банным терзаниям, освоившись в женском отделении, однажды я проявил некоторое любопытство.

Вообще-то я облек свой вопрос в деликатную форму. Задал маме вопрос. Правда, люди в женском отделении отличаются от тех, что -в мужском? Или это только так кажется? Я не ожидал такого эффекта: сидевшие рядом тетки вдруг закрылись тазами, и одна из них возмущенно сказала:

-Это безобразие приводить сюда такого большого мальчика. Он на меня так смотрит, что я вся краснею. Мать сказала:

-Подумаешь, младенца застеснялись, ему еще и года нет, что он понимает? Она задела-таки меня за живое. Как это мне года нет, если еще в июне мне исполнилось три, а теперь уже декабрь? Стараясь не быть писклявым, я сказал:

-Мне уже скоро четыре.

Три женщины закричали разом:

-Банщика позовите! Пусть их выведут! Привела почти взрослого мужика, да еще зубатится, халда!

-От халды слышу! поднялась с лавки мать, угрожающе размахивая железной шайкой, ноздри у мамы раздувались. Она схватила меня за руку и выдернула в предбанник, там, шепча ужасные ругательства, надела на мое мокрое тело одежонку. Сама тоже оделась, не вытираясь, и мы выскочили на улицу.

-Скотина! Оторвать бы тебе твой поганый язык!

С тех пор я стал ходить в мужское отделение бани, да так и хожу до сей поры

Тогда я и подумать не мог, что буду в войну сидеть в этой бане, на лавке ошпаренной кипятком, целыми днями, поместив свой тощий зад в один таз с теплой водой, а ноги поставив в другой,

Можно было при желании найти небольшой обмылок на решетке под лавкой. Тогда я часами пускал пузыри, изредка меняя в тазиках остывавшую воду. Пузыри улетали под потолок, радужные, большие.

В бане было тепло, а билет туда стоил копейки. Дома не было дров, школа была разморожена. Банщики пацанов не гнали. Был бы билет. Иногда пускали и без него.

Именно в предбаннике Крестьянской бани высосал я сваю первую в жизни сладенькую папироску, а бросил курить лишь после пятидесяти лет интенсивного курения.

Но в тот день, когда мы с мамой бежали из женского отделения, до моей первой затяжки оставалось еще около десяти лет,

Мать бы злилась еще долго, но вечером к нам пришел в полуподвал домхоз Штанев и сказал отцу:

-Вам, Николай Николаевич, как ударнику, часовщику с золотыми руками, негоже жить в подвале. Мазурики медом намазали бумагу, чтобы сломать у вас стекло, на расходы пошли, знали, что могло окупиться...

-Я часы дома не держу, -смущался отец, -если только срочная работа...

-У часовщиков золото бывает, -продолжал Штанев,-собаку не зря отравить хотели.

-Не отравить, кончики иголок в колбасу напихали. Нищий, а дорогую колбасу псу сует. Маркиз понюхал и хвать его за ногу.

-На втором этаже у вас будет другой уровень жизни...

Мать развеселилась. На другой день мы переехали на два метра ближе к небу, и наша жизнь сразу пошла в два раза быстрее.

САМСОН ИЗ СКОБЯНОГО

У матери на работе я побывал лишь раз. Она зашла к начальнику в кабинет, а я немного попечатал на ее "Ремингтоне" одним пальчиком. И все. Выпорола.

А с отцом на работу я ходил почти каждый день. В его мастерской я играл сломанными будильниками, изображая из себя мастера. Когда мастера затачивали инструмент, точило рассыпало снопы огня, и казалось чудом, что огонь этот совсем не жжется. Отец объяснил мне, почему так получается.

Мы насобирали возле точила мелких металлических опилок, смешали их с клеем и спичечными головками, получились свечи для бенгальских огней.

Возвращались из мастерской по тропке, петлявшей возле речки Игуменки.

Глубокий каньон. Избушки лепились на склоне горы, как сакли в кавказском ауле.

Однажды я сказал отцу об этом, а он ответил:

—А это и есть наш томский Кавказ, тут даже настоящие горцы живут. И Самсон из скобяного, и сапожник Гурген, и повар этот из "Севера", как его? Сандро? Да! Сандро. По-русски будет просто Александр.

Ты посмотри: Игуменка течет, как в ущелье, ну, просто-горная речушка; верба, ивняк, черемуха, акация, весной все это в цвету. Это место горцам родину напоминает, вот они тут испокон веков и селятся на этом склоне.

Самсона я знал. Бывая с отцом на центральном рынке, мы обязательно заходили в скобяной магазин. Отец покупал у Самсона какие-то необыкновенные бруски, напильники, ножовки. Для отца припасали все самое лучшее. А иногда отец и Самсон пили пиво с воблой или лещом. Рыбу полагалось стучать о прилавок, чтобы шкура лучше отставала.

Самсон был не просто большим, но огромным. Говорили, что ростом он ровно два метра, при этом он был неправдоподобно толстым, имел четыре подбородка.

-Смотры! -говорил он мне, -адын, два, тры, четыры!

Пиво он пил не кружкой, а ведром, и в дверь магазина-амбара заглядывали зеваки. Отца с Самсоном связывала давняя дружба.

Когда братья Климычевы осиротели, а старший женился, то из экономии он снял малюсенькую комнатушку, в которой остальным уже места не было.

Братья разбрелись по городу —кто куда. Самыми младшими были мой отец, которому тогда минуло десять лет, и двенадцатилетний Сергей. Вот с ним-то они на базаре милостыню просили, Сергей и стянуть что-то мог. Ночевали там же. Осенью от холода закапывались ночами в навоз.

Однажды отец увидел на Почтамтской разбитую витрину и подумал, что в ней ночевать будет лучше. Полез через небольшое отверстие. Утром его разбудил владелец часовой мастерской Бавыкин:

—Ты —вор? Полицию позвать?

Отец пояснил, что от холода спасался.

Бавыкин заключил с отцом контракт. До совершеннолетия отец работает на хозяина бесплатно, а исполнится ученику двадцать лет, ему дадут диплом мастера и полностью часовой инструмент.

К сорока годам отец себе вставил золотые зубы, а то все без зубов ходил. Хозяин обучал по особому. Часы любят чистоту, чтобы усвоить это, ученик мыл полы в мастерской и хозяйской квартире, Чтобы привыкнуть к точности и осторожности, ученик нянчил хозяйского ребенка, тоже хрупкий механизм.

Раз Бавыкин ушел с женой в театр, ученик нянчил младенца и заснул на полу. Снился ему оркестр, барабанщицы и певица, которая тонким голосом пела. А это Бавыкин в дверь стучал, а младенец криком заходился, Хозяин дверь высадил, а ученику —сапогом в зубы! После шутил: мяса будешь меньше есть, дешевле прожить.

Не учили отца: подглядел, до всего сам дошел. Когда ему исполнилось двадцать лет, и Бавыкин должен был выдать ему диплом и инструмент, грянула революция, потом гражданская война. Бавыкин куда-то смылся, Ни диплома, ни инструмента.

Пошел отец на базар, повесил на грудь табличку; "Ремонтирую часы ". Присаживался отец на корточки, клал на землю фанерку и на ней разбирал часы.

Тогда в самом начале нэпа, он и с Самсоном познакомился. Тот видит: сидит юноша на корточках, часы чинит. И говорит:

—Рэмонтируй в моем сарае, пожалуйста!

Поставил Самсон в своем магазине отцу верстачок возле единственного окошка и спрашивает:

—Балшой часы, память Кавказа, чирикать перестал, можем делать?

Отец отремонтировал эти настенные часы. Самсон принес из дома золотые карманные часы, отец и те отремонтировал. И создал Самсон отцу большую рекламу. Был этот кавказец человеком шумным, громким, полной противоположностью моему отцу. Выходил Самсон в центр базара и кричал, что было сил:

—В скобяной ходи, лучший мастер Сибири часы ладит! Это вам Самсон говорит!

Самсона из скобяного на базаре знали. В цирке не раз боролся с профессионалами и побеждал. Но не хотел менять свою профессию на цирковую. В своем магазинчике он поднимал и переставлял тяжеленные ящики, так, словно они были заполнены не железяками, а пухом. Напившись пива, Самсон обычно крестился двухпудовой гирей.

— Сматры! Адын такой и другой -такой. Да? Теперь на весы ставим.

Адын гиря -два пуда четыре фунта, а другой нет двух пудов. Почему такой? Хитрый купец был. Покупает товар -тяжелый гиря ставит, продает -легкий. Самсон честный торговец. Самсон так никогда не делал. Эта гиря для интереса держу...

Возвращались раз с отцом с работы. С Шумихинского свернули на Орловский, вот и тропка. Томский Кавказ. Отец даже продекламировал:

—Кавказ, подо мною, один в вышине стою я у края стремнины...

И предложил:

—Зайдем к Самсону домой? Попроведуем?

— Зайдем, зайдем! обрадовался я. Ведь побывать в незнакомой квартире
тире да еще у кавказского человека —расширить свой мир, узнать что-то новое.

Самсон принял нас восторженно:

— Вай-вай-вай! Какие дорогие гости, просто золотые гости! Алмазные!

Стены небольшого жилища были завешаны огромными коврами. На столе стоял серебряный кувшин с узким длинным горлом. На ковре, над кроватью, висели ружье и кинжал.

— Пагади, сейчас мангал во дворе зажигать буду, шашлык делать буду, угощать буду!

Самсон вернулся с глазами, заслезившимися от дыма. Увидел, что мы с отцом разглядываем его оружие, и снял со стены ружье и кинжал:

— Пагади немного, сейчас абрек придет! —скрылся в сенях.

Через некоторое время он вернулся почти неузнаваемый: в черкеске с газырями, в косматой папахе, мягких сапогах. Кинжал висел на поясе,

ружье было в руке.

—Абрек! Похожий, да?

—Кинжал острый? —спросил я.

—Совсем острый! -радостно закричал Самсон, выхватывая клинок из ножен. —Сматры! -он подставил острие к горлу.

—Осторожнее! крикнул отец.

Самсон чиркнул острием по горлу и захохотал:

—Пугался, да? Дэревяшка! Серебрянкой красил! Похоже, да? Дэревянный кинжал! Абрек, ха-ха-ха!

— Граммофон у тебя есть? —спросил я Самсона.

—Есть, как не быть? ответил он и принес странный ящик. Открыл крышку, диск был, как в граммофоне. Самсон завел пружину, поставил на диск медную пластину, в которой были пробиты дыры, как гвоздем.

—Что это?

—Пластинка.

Ни мембраны, ни иголки в этом странном граммофоне не было. Над пластинкой повисло нечто вроде длинной расчески с разными по длине зубцами. "Расческа» звучала, касаясь зубцами то одного, то другого штифта. Мелодия была странная, капризная, с ритмом неровным, непривычным.

Я привык к пластинкам с песнями Юрьевой и Козина, с веселенькими ритмами джаза под управлением Цфасмана. А здесь никто ничего не пел, не рыдали гавайские гитары, не гукал контрабас, не гнусавили кларнеты. Казалось, что тысяча родников названивают.

Самсон слушал, склонив голову, на глазах у него навернулись слезы. Он отер их рукавом черкески, посмотрел на меня

Сказал отцу:

— Микола, отдай мне этого мальчика! Совсем кавказский мальчик. Отдай, ты себе еще сделаешь, а мне, где взять? Я уже старый.

Сердце у меня защемило. Было мне десять лет, но я очень хорошо почувствовал одиночество этого человека. Да, отец говорил что-то про давно умершую жену Самсона, про его одиночество, но тогда я пропустил это мимо ушей. А теперь все почувствовал до боли в груди, даже захотелось плакать.

Самсон вскочил, посадил меня на ладонь и вытянул руку:

—Самый лучший кресло! Ах-а-ха! Могу целый день на руке держать. Ну, ладно, не хочешь —целый день —не надо, сейчас шашлык готов будет...

Мы ели шашлык, отец и Самсон запивали его вином, а я чаем.

— Много пьешь, —говорил отец, —лицо у тебя, Самсон, всегда малиновое, плохо это. Что доктор сказал?

—Сказал: сердце бычье. Что понимает доктор-моктор? Самсон сам большой и сердце большое. Пиво не велит пить, я и так почти не пью, меньше ведра в день.

— Поостерегись, Самсон, врач зря не скажет.

-Не грусти, Микола! Мы будем еще много шашлыки кушать! Еще много раз будем в гости ходить...

А через несколько дней я услышал, как отец говорит вполголоса матери:

—Как это я в милицию не пойду? Я с ним дружил, совсем недавно в доме у него побывал... как что? Могу подсказать: какие вещи у него там были, да мало ли? Меня самого зарежут? Ну, знаешь, если так рассуждать...

Оказалось, что Самсона убили.

Шел утром отец на работу, видит человек во рву, в кустах, возле самой Игуменки лежит, в крови весь. Пригляделся отец и узнал Самсона.

А было так: намазали бандиты бумагу медом, и наклеили на оконное стекло. Если через такую бумагу надавишь, то стекло бесшумно выдавится, и руки не порежешь.

Ну, что? Ночь глубокая. Самсон пива напился, спит крепко. А они стекло выдавили, пацан комнату пролез, шпингалеты открыл, тогда и громилы в окно влезли. Один сонного Самсона по голове топором рубанул. Однако Самсон все же вскочил, схватил табуретку, оборонялся. Но много крови потерял.

Все же хватило сил в окошко выпрыгнуть, скатился по обрыву к Игуменке. Кричал, говорят, громко, на весь околоток. Никто не вышел, боялись все.

Мать говорит:

—Вот тебе и кавказцы! Как же они своему-то не помогли?

Отец пояснил, что кавказцы бывают разные. И вера у них разная. И ближе всех к Самсону жил кавказец иной веры. Он, может, и слышал крик, да не вышел на подмогу.

—Эх, —сказал отец,—если бы они его сонного сразу не оглоушили, если бы проснулся он, вот уж показал бы им кузькину мать!

Там, где речка Игуменка пересекала улицу Алтайскую, были перекинуты через поток бревешки, так, чтобы телега переехать могла. Сквозь щели были видны быстрые, пенящиеся струи. Нередко стоял я на этих бревнах и слушал голос реки:

Жили-были бы мы там!
Жили-были бы мы там!

Чудилась горянка в вихре танца с легким бубном в руке. Я с сожалением поглядывал на домик, в котором прежде жил Самсон, а потом поселились незнакомые мне люди.

Много-много раз пробегал я по Алтайской через эти бревна, и река непонятно о чем шумела:

Жили-были бы мы там!
Жили-были бы мы там!

Я подпевал ей в такт. Я думал о том, что, да, жили-были бы мы не здесь, а где-то там, возможно, никто никого не убивал бы, еды было бы больше, одежды тоже. Но тогда не было бы ни Томска, ни его старинных домов, ни сосен, ни черемух.

Жили-были бы мы там, нам хотелось бы сюда, потому, что без Алтайской, без Юрточного было бы так тошно, никакая еда в горло не лезла бы.

Однажды ветхий домик возле Игуменки был снесен, и на его месте построили новый, побольше. И бревенчатый мостик на Алтайской однажды разобрали, а речку втиснули в подземную трубу. Улицу замостили, потом и заасфальтировали. Теперь по ней мчат машины —одна за другой

Речка течет под землей, словно и нет ее. И только в пору таянья снега, когда малые ручейки и канавки и то начинают бурлить и кипеть, Игуменка вспоминает свою молодость и, неся мусор и нечистоты, глухо, но явственно напевает:

Жили-были бы мы там!
Жили-были бы мы там!

ПЕРВЫЙ КАМУШЕК

Там, где в Ушайку упирался конец улицы, река была разделена на два рукава галечным островом. На нем кое-где пробивалась трава, были возле уютных заливчиков крохотные песчаные пляжи.

Ах, наше купание было чем-то бесподобным! Буйством, непотребством, каким-то шабашом! Мы ныряли до тех пор, пока наши уши не переставали что-либо слышать, мы купались, пока нас не начинала бить самая мелкая дрожь. Купались по два, по три часа подряд, а если родители не призывали нас к порядку, то и дольше.

Устав, мы, пацаны и девчонки, выбирали на галечном острове местечко помягче, где травка, песочек, укладывались на спины, смотрели в бездонные небеса. Выглядывало, пригревало и вновь заходило за облака солнышко.

Постепенно мы обретали слух и слушали говор реки, и песни слышались нам в шуме воды на перекатах, речка словно баюкала нас, стремясь куда-то вдаль и качая донные травы.

Мы спали, потом пили воду прямо из реки. Ложась в воду и, приникая к ней губами. Шли к ледяным родникам, которые подпитывали Ушайку, выходя из каменистых осыпей. Камни возле родников были почему-то мягкими и синими или светло-голубыми, и мы пользовались ими вместо грифеля: тогда ведь дошколята и школьники еще писали на аспидных досках.

Были по берегам залежи удивительно мягкой, пластичной глины. Хороша -лепить фигурки! Взрослые брали ее для хозяйственных дел.

Купаясь в нежном возрасте на мелководье, невольно любовался камушками всех цветов и оттенков, которые вздрагивали под струями воды. Тот вон как птичье яйцо, в крапинках, а тот зеленый с особенным светом внутри. Принесу его в ограду, вот всех удивлю! Но вынутый воды, камушек высыхал и делался невзрачным, тусклым. Словно кто-то предупреждал: нельзя, мол, хватать красоту руками, ничего доброго не получится.

Ловили поближе к дому. Можно неводить, для чего годится собственная рубаха, а лучше -старая простыня.

Пацаны постарше пробивали донце большой бутылки острым камнем, крошили туда хлеб и ловили, как "мордой".

Всегда можно было увидеть стоящие коленями в воде сгорбленные фигуры. "Вилочники" терпеливо караулили свою рыбину, чтобы в момент наколоть ее на обыкновенную столовую вилку, Был в этом отголосок древней охоты с острогой... Потихоньку перевернешь осклизлый донный камень, а там -вьюн, не зевай, коли!

Мы отдавали улов кошкам, иногда ели сами, чуть прикоптив и, присолив, и зарабатывали себе болезни печени на старость.

Рыбачили и взрослые: удочками, переметами, неводами, иногда даже перегораживали сетями реку, Но рыбы не убывало! Водились в Ушайке тогда пескарь, гольян, елец, чебак, окунь, щука, ерш, красноперка, бычок-подкаменщик. В нижнем течении, возле базара и Каменного моста, иногда появлялась и более ценная рыба, видно, заходила из Томи.

-На Первый Камушек пойдем рыбачить или на Второй? -говаривали мы.

Вариант легенды о Томе и Ушае. Князь Тоян застал дочь с пастухом, велел убить его. Тома утонула в большой реке. А Ушай переплыл ее, побежал вдоль малой речки. Воины настигали. Поднял он огромный камень, кинул. Так возник Первый Камушек. На бегу, пастух метнул еще один камень, который тоже стал утесом. Ушая настигли, но он утопился в малой речке, которая с тех пор зовется Ушайкой.

Берега были галечными, глиняными, песчаными, каменистыми. Заросли зверобоя, володушки, подорожника, мать и мачехи, разных других трав и цветов. Гудели пчелы и шмели, трещали глазастые стрекозы, ветер пах дымком, мокрыми берегами, рыбьей чешуей

Если идти среди трав и цветов против течения реки, то придешь в рощу. Это место на крутом берегу называлось тогда "Красным крестом". Отец рассказывал о том, что в гражданскую войну там трупы лежали возле санитарных бараков штабелями: люди умирали от голода и тифа.

Позднее бараки стали жилыми домами, в одном из них размещался клуб кондитерской фабрики. В этом месте было три огромных оврага, по дну которых струились ручьи. Собственно, ручьи-то и прорыли эти "каньоны".

Миновав рощу и овраги, мы выходили к высоченному трамплину. С него зимой прыгали в основном военные. И скатывались они на лыжню, которая проходила по всей Ушайке.

А вон стрельбище. Как только уходили военные, пацаны кидались к откосу, по которому велась стрельба, извлекали из деревянных щитов пули, выковыривали свинец на грузила и "кати", которыми играют в "чику". Иногда мы ползли к щитам, не дожидаясь отбоя, играла труба, нас ловили и пороли.

На берегу Ушайки были две горки, слишком круглые и слишком аккуратные, чтобы быть творением природы, это были древние ритуальные холмы. Одна горка называлась Вшивой, вторая -Чертовой. Возле них были глубокие места, говаривали, что там сидит Водяной, мы внутренне трепетали, но, показывая храбрость, ныряли в омуты.

Обычай отдыхать за городом пришел из далекого прошлого. Первые теплые дни - походы за цветами, травами для настоев, затем ягоды, грибы, ну и рыбалка, купание, и прочие удовольствия.

В городе хватало зелени, но хотелось еще большего роскошества. Некоторые компании ехали на природу на телегах, везя с собой и самовары, и граммофоны. А мы медленно шли мы по Сибирской, как и многие другие семьи...

В сумках -пшено и сало, бидончик с молоком. А еще мы взяли удочки и банку с червями, перочинный нож, спички и палатку.

Окраина, восход солнца, и на лавочке под березами в лучах восхода сидят необычайно красивые, белокурые, голубоглазые и чернобровые парень и девушка. Они словно сошли с какой-то картинки из журнала "Нива". Одеты были по-старинному: она
-в сарафане, он в вышитой рубахе с пояском. Они держали друг друга за руки и нежно смотрели друг другу лицо.

Честное слово, я тогда почувствовал своим детским сердцем всю беспредельность этой нежности.

Мать сказала отцу:

-Это они, посмотри, -как сидят, что творится! Староверы. Это брат и сестра. Кержаки. Брат полюбил сестру. Родители ничего не могут поделать с этим. Мать шепнула отцу:

-Сами, кержаки, виноваты. У них все парни и девки на полатях спят вместе, в одних длинных рубахах, чуть не до совершеннолетия...

Через некоторое время прошел по городу слух, что юные староверы -брат и сестра - повесились в одной петле на березе возле родного дома.

После не раз я бегал к тому домику на бугре, заглядывал в ограду, надеялся увидеть эту красивую парочку. Но в ограде никого не было, да и окна в домике были заколочены досками крест на крест.

Спросил об этих староверах у матери, а она строго сказала:
-Это не детские дела, тебе какое до них дело? Мало ли, что говорят! Уехали они и все.

Уже за городом, окруженный высоким забором, стоял военный городок "Куукс" Курсы усовершенствования командиров-санитаров. Обучались там девушки.

Потом тропинки бежали под уклон, к Ушайке.

У железнодорожного моста -первозданная тишина, только Ушайка задумчиво шумела, шлифуя камни, и вода в этих местах казалась белой там, где дно было травянистым, она сразу становилась изумрудной, в больших, тихих омутах вода была чайного цвета, и вроде

бы не текла, лишь кое-где сами собой возникали и расходились большие неправильные круги.

Поодаль по холмам поднимались хвойные и смешанные боры, на тенистых полянах пестрели цветы. Мы собирали лекарственные травы грибы, клубнику, землянику, черную и красную смородину. Варили уху, отдыхали. Ляжешь на перекате, вода бурлит, гладит тебя, ласкает. Тишина, только изредка пастух пригонит стадо на водопой.

Разбили палатку возле родника. Отец закатал штаны, залез в реку по колено и застыл с удочкой в руках. Мать поставила на таганок варить кулеш.

Я полез в кусты, изображая из себя индейца с копьем. Неожиданно моему взору открылась тихая поляна с голубыми цветами. Кудрявый бородач прислонил к холмику большую икону и стоя на коленях, восклицал:

-Господи! Благодарю тебя за красоту мира, тобой созданного!

Я позвал маму. Она сказала:

-Нехорошо это мешать человеку, когда он молится.

Когда кулеш сварили, пригласили поесть бородача. Он от еды отказался:

-Скоромного ничего не буду... Молюсь, чтобы господь даровал нам милосердие к цветам и травам. Живу тут зимой и летом, избушка у меня в лесу. Говорю людям -не жадуйте. Берите, но и другим оставьте. У бога много запасено, а жадность губит...

Потом мы не раз видели этого отшельника. Жил он только тем, что мог собрать в лесу. А там все было; грибы, орех, ягоды. Ничего иного не ел, ни хлеба, ни сахара, и чаю не пил.

В отвесных глинистых берегах шустрые пичужки проделали ровные дырочки-норы. Они хватали на перекатах зазевавшихся гольянов клювами на лету и тащили, каждая в свою норку.

Я подползал к обрыву, протягивал руку и доставал из какой-либо доступной мне норы птичьи яички. Зачем? Не знаю. Похвастать в городе перед другими сорванцами.

Лохмач с седыми кудрями, взял меня за руку:

-Дитя. Ты дом разорил, большой грех!

—Яички такие красивые...

-В них жизнь заключена. Не разрушай жизнь...

На следующее лето отшельника возле "Железного" мы уже не встретили. Забрала его милиция, а избушку его сожгли дотла.

Если я в те годы более всего на свете любил купаться, то отец готов был ловить рыбу до посинения и ломоты в суставах. Ловил он только на удочку, никаких других снастей не признавал, И хорошо знал, где и как можно взять рыбу на Ушайке.

Бывало, клюнет ельчик, отец снимет его с крючка, и бросит обратно в воду:

-На что ты мне, дурашка, плыви... Мать кричала с берега:

-Гуманист задрипанный, порвал рыбе губу, отпустил и радуется. Это же инквизиция!

Однажды возле нас расположились отдыхать Потапочкины, Мать считала, что он заносчив, поскольку занимает важную должность -выпускает газеты.

На природе, отчужденность исчезла. Михаил Иванович угостил нас своими маринованными помидорами, а мы его нашей ухой. Рита Потапочкина была в цветастом купальнике и натиралась особенным кремом для загара.

Потапочкин бросил ключи от дома в реку и приказал:

-Милорд, достать!

Милорд нырнул и вытащил из реки большой плоский камень.

-Ключи! -скомандовал Потапочкин.

Милорд нырнул и вытащил еще более крупный камень, который уже еле мог держать в зубах.

-Ах ты, скотина! -взбеленился наш сосед и хотел отхлестать Милорда ремнем.

-Не нужно, -сказал отец, -оглохнет еще от частого ныряния. Я умею нырять с открытыми глазами, я найду ваши ключи.

Отец долго пробыл под водой, но ключи все же нашел, отдал Потапочкину, отфыркиваясь:

-А вашему Милорду долго под водой быть нельзя, чутье потеряет.

—Он и так давно чутье потерял! -махнул рукой Потапочкин, опечаленный тем, что не удалось собаку показать во всем блеске, способностями ее похвастать. А вы, Николай Николаевич, классно ныряете.

-У реки выросли! -засмеялся отец, -я на спор нырял, дольше всех под водой держался... Вот вам секундомер, засеките-ка время...

Он разбежался и нырнул. Прошла минута, другая, а его все не было. Мать взволновалась, побежала по берегу, закричала;

-Коля, Копя! О, господи, утонул!

Тут отец вышел из кустов живехонький. И сказал вполголоса:

-Чего паниковать? Пронырнул я за поворот, хотел посидеть там, в кустах, потом опять бы нырнул, а здесь бы вынырнул. Эффект, знаешь, какой был бы? А ты все испортила, не дала мне абсолютный рекорд установить.

-Пошел ты... сам знаешь, к какой матери со своими рекордами!

Я думал: у Потапочкиных пес -Милорд, у нас -Маркиз, какое же из этих званий более высокое? В сказке про кота в сапогах был маркиз Карабас!

Хорошо жилось нам на Тверской возле Ушайки! Мимо нашего дома зимой и летом двигались подводы с разными грузами. В конце лета тянулись возы с сеном. Телеги запросто переезжали Ушайку по отмелям Пешеходы переходили речку летом по мосткам, зимой -по льду.

Когда лед становился крепким, на нём ставили рубленую избушку -парнушку. Там топилась печурка, и были прорублены продолговатые проруби, в края которых были вморожены плахи. Весь околоток шел полоскать белье. Ниже по течению была прорубь, чтобы можно было поймать упущенное белье.

Водопроводная башня была в двух кварталах от нас. Но местные жители считали водопроводную воду невкусной (хотя тогда ее еще не хлорировали) и даже заразной, брали воду из прорубей. Всю зиму катали мы воду в бидонах на саночках, а кто-то возил и на санях, запрягая лошадку. Иногда нанимали водовозов. Были отдельные длинные и узкие проруби для поения лошадей.

Весной с нетерпением ждали ледохода. Выходили на берег с флягами и бутылями, с закуской, разводили на льдинах костры.

Звучат балалайки да гармошки. Вот стая мелких льдин, а вон плывет целый ледяной остров и мяукает на нем, неизвестно как попавший туда, котенок. Приплывали льдины с остатками построек, с колеёй зимника.

Почти каждый год мы ставили мерные вешки: будет ли наводнение?

"Прибывает!-несся по Петропавловской истошный вопль. Кочегары кондитерской фабрики давали короткие тревожные гудки. Такие же гудки ветер доносил с электростанции, с Карандашки. Тех, чьи дома затопляло, переселяли временно в дома на гору.

Но наводнение все же когда-то кончалось. Подсыхала земля, пригревало солнышко. Река успокаивалась, мелела.

Много давала наша небольшая река. Но она приносила иногда и несчастья. Каждое лето в этой небольшой и не очень глубокой речушке тонули пьяные или неразумные пловцы и ныряльщики. Было много страшных историй о "конском волосе", который при случае может вам впиться в руку или ногу и тогда уж его никакими силами оттуда не вытащить. Налимы будто бы сосали покойников, а в одном из омутов за Вшивой горкой жило какое-то страшное чудовище.

Каждое лето я ждал, что случится моя встреча с какой-нибудь из этих напастей. Но все обошлось. Правда, ноет что-то внутри, может, "конский волос" невидимо точит? За все хорошее приходится в жизни чем-то платить.

ДОМ КОСТАНА И КОЛЯНА

На противоположном от нас берегу жили пюди-заушаечники. Нас они называли бардашными или бочановскими и вели с нами войну.

Для нас слово "заушаечник" было символом опасности: снимут шапку, отберут пыжи и варежки. Срезали коньки-снегурочки, которые мы приматывали к валенкам при помощи веревочных петель и палочек. Говорят, еще в царские времена жители Бочановки и Петровки бились на кулаках. Теперь дрались пацаны, да подростки.

Летом воевать было не принято. Войнишки возобновлялись с наступлением зимы. Мы устраивали из снега окопы и брустверы, лепили снежки, обмакивали их в ведра с водой, чтоб метательные снаряды стали тверже камня.

С одной и с другой стороны реки, стоят напротив, в нерешительности, пока какой-нибудь смельчак не увлечет за собой толпу. Я раз, стоял в рядах бочановцев, поскользнулся *и,* чтобы не упасть, шаг сделал. Заушаечники бросились удирать, ведь за мной и толпа двинулась.

В те времена я боялся кататься в одиночку на коньках по Ушайке. Но однажды все же у меня отобрали коньки. Вот почему я и другие ребятишки моего возраста даже летом остерегались переходить на другую сторону реки стан заушаечников.

Между тем, два отцовских брата Константин и Сергей, жили как раз на том враждебном берегу на улице Петровской номер 39. И мы с отцом и матерью в большие праздники ходили в дом на Петровскую в гости.

Трехэтажный дом на Петровской стоял внутри усадьбы, возле оврага, и дядя Сережа жил в этом доме вверху на третьем этаже, а дядя Костя -наоборот, в самом низу, в полуподвале. Обычно мы сначала заходили в полуподвал, а затем вместе с дядей Костей и его женой, тетей Олей, поднимались на третий этаж. Туда вела прямая и крутая лестница, украшенная ровными рядами балясин.

Наверху вы попадали в длинный коридор с двумя рядами дверей. И с висящими на гвоздях ваннами, велосипедами, плакатами, с изображением загорелых физкультурниц.

Дядя Сережа был человеком громогласным, не стеснялся материться при женщинах и детях. Меня это удивляло, отец с матерью при мне никогда не матерились, хотя я точно знал, что материться они умеют.

Взрослые усаживались за стол, а я выходил в коридор, чтобы поучиться у своих двоюродных уму-разуму.

Они знали такую матерщину, какой я ни на том, ни на этом берегу Ушайки до встречи с ними никогда не слыхал. Братьев звали Володя, Генаша и Копяша, а сестренку -Валечкой

Генаша зажег спичку, сунул себе в рот, закрыл его, вновь открыл, а спичка все горела. Я попытался сделать то же, но только обжег язык.

Затем они привязали к моему зубу суровую нитку, второй конец закрепили за дверную ручку, Володя дернул дверь, зуб у меня выскочил изо рта. Больно!

Вдруг меня осенило:

-Вы же заушаечники!

—Ты тоже заушаечник... Почему? Да потому, что за Ушайкой живешь. Это меня озадачило, я долго думал, потом над этой проблемой, но так ничего
придумать не мог.

-Тебе одному жить скучно, -убежденно говорил Коляша, -и заступиться за тебя некому. Ко мне кто полезет, так Володя с Генашей живо ему сопатку набьют. Ты скажи родителям, пусть братика тебе купят... А пока почаще к нам ходи, хоть курить научишься.

Интересно в дядиной квартире. Сортир общий в сенях. Так если там, что делаешь, то всё с высоты трех этажей в яму летит! Говорят, купцы свое золото в кожаных мешочках на дно таких туалетных ям спрятали. Ямы эти до самого дна никогда не очищались и, возможно, золото там и есть. Зря что ли ассенизаторов называют золотарями?

Я у дяди про это золото спросил, а он ответил:

-Вот выгонят из карьера, в золотари пойду, так и знай племянничек! А за столом звучала жалостливая песня:

Налей, подруженька, мы девицы гулящие,
Пусть нам еще всего лишь только двадцать лет,
Но все равно уж наша жизнь теперь пропащая
И нашу молодость никто нам не вернет...

Затем играли плясовую, а тетя Клава, жена дяди Сережи, плясала. Тонкая, стройная, в туфлях на высоких каблуках, она отбивала чечетку, плавно скользила по комнате и могла без устали плясать до тех пор, пока музыканты не выбивались из сип.

-Ну, тебя, Кланька, -говорил дядя Сережа, ты, прямо, как резиновая, какой бес в тебя пружину вставил.

Тетя Клава только смеялась.

Иногда братцы уводили меня на Вознесенское кладбище, где множество удивительных надгробий, со стихотворными надписями, со скульптурами ангелов, с золочеными обелисками. Однажды весной мы подсочили на том кладбище березу, быстренько по трубочке натек в банку сок. Стали пить по очереди, а Генаша и говорит:

-Потому здесь березы сочные, что удобрение хорошее.

-А что за удобрение? Люди сгнили, вот и чернозем, засмеялся Генаша.

Меня тогда словно, кто обухом по голове ударил, а ведь и я когда-нибудь умру, рано или поздно, но обязательно умру. Раньше-то я об этом как-то не думал. Оставил я банку, даже свою порцию сока не допил, побежал с кладбища, а братцы мне вслед захохотали,

Прибежал на Петровскую. Мать сразу заметила, что я расстроен, спрашивает:

-Что с тобой? Я ведь умру когда-нибудь! Понимаешь?

Смотрю, мать смеется:

—Только-то? Стоило расстраиваться. Мы тоже умрем, так ведь не волнуемся. Лет через двадцать таблетки придумают для продления жизни. Ты ж молодой, чего тебе беспокоиться?

Мне легче стало, спросил:

-А вы как же?

-А мы зря себе нервы не портим, около Ушайки в ледоход не валандаемся, потому что там запросто можно утонуть. Так что, может, и мы доживем до таблеток, а ты уж наверняка.

Гуляли они весь день, и дня им было мало. Опять принимались играть на гитарах и балалайках, тетя Клава вновь плясала. Когда стемнело, снизу соседи стали стучать в потолок: прекратите, мол, пляс, нам спать надо.

-Идемте к нам, -пригласил Константин Николаевич,-под нами уж никто не живёт!

Спустились по лестнице вниз.

У Константина Николаевича два сына -Саня и Котя. Старший сын Саня отличник он в овраге за домом целыми днями запускал модели самолетов, с бензиновыми моторчиками. На каких-то там соревнованиях одна из его моделей заняла первое место.

Я Сане говорил:

-Летчиком будешь

-Нет! отвечал он, -конструктором.

Мне это было непонятно: летчик это же здорово! А то сиди, чертежи рисуй.

Котя был ростом почти с Саню, а ел даже больше, чем взрослый, знал всего несколько слов и почти не ходил, больше ползал на четвереньках.

Его надо было, как маленького, сажать на горшок, Он толстел не по дням, а по часам. Я хотел, было, поиграть с ним, но мать с тетей Олей сказали, что это опасно задавить может.

-Он добрый, -сказал я.

—Я сама его боюсь, -ответила басом тетя Оля.

Это было мне удивительно слышать, ведь тетя Оля была самой сильной из моих теток. Дядя Костя говорил, что женился он на ней ради улучшения

потомства. Как увидел он пышущую здоровьем девицу, так и подумал: "Вот уж крупные детки получатся!"

Что ж, Катя, действительно, получился крупным: в пять лет, он выглядел десятилетним, а в десять лет был крупнее самого дяди Кости.

И ел, и ел.

Еще у дяди Кости -две девочки: Галя и Света. У дяди Кости есть старинный граммофон со здоровенной трубой, вроде увеличенного во много раз подснежника, Завели пластинку со странным названием "Инее". Музыка без слов, но заноги и за руки дергает. Там дядька пел -пел, да как замычал "Беее!", а тетка визжала, словно ее щекотали. Еще в полуподвале был кот Пыня, вредный и крупный.

У тети Оли свои постряпушки и свои наливки. Гулянка продолжается, Дядя Костя рассказывает о том, как он в колонии для малолетних правонарушителей мастером по труду и воспитателем работал.

Воспитанники его очень любили. Да его и невозможно не полюбить. Он играет на гитаре, прекрасно поет, мягким таким вкрадчивым баритоном.

Он обучал подростков картонажному делу. Но вот уволился

Событие в колонии произошло. Проиграли воспитанники в карты одного из воспитателей. Они его очень любили и, когда резали, то в голос ревели. А что было делать? Раз проиграли надо зарезать, а не-то их самих зарежут.

Еще дядя Костя рассказывал, как эти игроки играли в лесу в карты на собственные пальчики. Кипит над костром вода в котле, а края котла остро заточены остро, как бритва. Проиграл? Надень на палец гайку, ударь по краю котла, гайка с фалангой пальца булькнет в воду.

Игра продолжается.

-Хорошие ребята, -сказал дядя Костя, -я их очень полюбил, но придется расстаться, уж лучше буду для конфетной фабрики коробочки лепить. Пусть заработок меньше, и пайка лишусь, но зато буду знать, что сегодня лягу спать, а завтра проснусь живой.

И опять звучал граммофон, потом все просипи дядю Костю спеть, он пел романсы, потом тетя Клава еще плясала.

Заполночь, изрядно пьяные родственники отправились нас провожать. Шли мы по центру. Мать моя была всех нарядней и тетя Оля ей сказала:

-Ох, Мотька, ходишь ты в золоте, как Бандерша!

Я не знал этого слова, но чувствовал, что оно нехорошее. Мать обиделась. Помрачнела. Когда вдруг из-за угла появились два милиционера, мать вырвала у отца руку с криком: "Караул! Грабят!'.

Милиционеры кинулись к нам, один расстегивал кобуру пистолета.

—Товарищи, растерянно заговорил отец, -это жена моя...

-Гражданка, это ваш муж? -спросил милиционер.

-Впервые вижу, я вообще не замужем... Я шла напали, браслет хотели снять, чуть руку не вывернули.

-Мотька, не дури! -басом говорит тетя Оля, -Вы не слушайте ее, выпивши она. Это -ее муж, вот его брат один, вот второй, а вот и сынишка её, -ткнула тетя Оля в меня пальцем.

-Вон как запели! -воскликнула мать.-Эта баба у них главная, вы её держите покрепче! А на этого взгляните -указала она на отца, уголовная рожа, сами видите.

Я от страха ничего выговорить не мог, и всех нас увели в милицию. Там уж мать созналась, что пошутила, но нас так и не отпустили до утра, и я спал там на лавочке.

Размолвки между братьями и их женами случались, но продолжались недолго и мы по выходным вновь навещали своих родственников.

Однажды дядя Сергей организовал нашу поездку за Томь, в прибрежные боры.

Ехали мы на телеге, я лежал на куче мешков. Дорога в бору была укатанной, гладкой. До сих пор слышу запах свежескошенного сена, которое дядя Сережа сгреб в охапку на чьем-то лужке, и подложил в телегу для мягкости.

Помню и прохладу вечера, и черное озеро в бору, и дом, выстроенный в виде резного терема на самом берегу озера, и отца, полушепотом рассказывающего.

У купца одного только птичьего молока не было. А он уезжал на эту дачу, уединялся, грустил и однажды здесь повесился.

И слушая этот рассказ отца, я тогда думал, что взрослые зря удивляются поступку этого купца. Они говорят, что у, него было все, но ведь птичьего-то молока не было. Вот!

И вот ехали мы куда-то, от одного лесного озерка к другому. В смолистом воздухе разливались ароматы цветов. И вдали кто-то истошно завопил. Я думал, что это разбойник какой-то. Мать пояснила:

-Мулла это, поп татарский. Мало ли, что в городе попы не кричат, здесь, в лесу кричать не будешь, прихожане заблудятся.

Ночевали мы в кустах возле озерка, к утру нас мошка заела, особенно, досталось отцу и дяде Косте, они весь брезентовый полог отдали женщинам, сами спали под открытым небом.

Подъехали мы к озерку, на берегу которого с другой стороны сидел старичок с удочкой.

Дядя Сережа достал из мешка бутылочки с чем-то белым. Стали братья привязывать эти бутылочки к камням

-Сейчас бикфордов шнур запалю, и начнем, -шепнул дядя Сережа. Отец пояснил мне, что шнур этот горит раже под водой. В бутылочке аммонал -взрывчатое вещество, которое дядя взял в карьере. Он там был директором, кто ему мог отказать?

Дядя размахнулся и швырнул камень, с привязанной к нему бутылочкой, к противоположному берегу.

-Чего, охломоны, рыбу пугаете! -закричал рыбак.

В озере так грохнуло, что рыбак открыл рот и повалился на бок. Взметнулся фонтан воды, дрогнул берег.

-Что вы наделали!—сказала мать, -может у старичка сердце больное!

-Ни хрена с ним не будет! засмеялся дядя Сережа, -рыбы дадим, он и оживет. Мать с тетей Олей и с тетей Клавой быстренько нырнули, принялись хватать всплывших кверху животами чебаков и карасей, швырять на берег. Этим же занялись и мужчины.

-Бабы! У вас же трусы с резинками, вы в трусы толкайте! -кричал дядя Сережа.

-Сам толкай! -отвечала мать.

-Я в аэродромную охрану пойду! -грозил очнувшийся старик. Рыбу складывали в корзины, перекладывали травой, ставили на телегу. Старик-то прав, -говорила мать, -не по-людски это. Нельзя так природой поступать.

-К хренам твою агитацию! -возражал дядя Сережа, агитаторы больше нас жрут и воруют, не хочу быть последним в очереди.

Дом Костана и Коляна стал для меня привычным. Я нередко отпрашивался сходить к своим двоюродным. Мне нравился ласковый Копяша, нравился и отчаянный, озорной Геннаша.

Был еще в том доме брат тети Клавы -Мишка, по прозвищу Злой. Он жил не в квартире, а в кладовке и на веранде, исчезал, появлялся, как призрак. Я иногда спрашивал тетю Клаву, -где дядя Миша работает, она махала рукой:

-Гуляет!

Стояли мы с двоюродными в ограде, когда пришли пацаны, и, задрав головы, стали кого-то просить:

Отдай турмана!

Я глянул вверх. Из окна кладовки выглянул Мишка Злой, показал пацанам голубя и крикнул:

-Выкуп!

—Ты его поймал не по закону! -талдычили пацаны. Мишка вдруг взял голову голубя в рот, откусил ее, выплюнул:

—Нате!

Пацаны заплакали. Мишка показал кулак, на котором можно было разглядеть синюю восьмиугольную звезду.

Позднее я много слышал о похождениях Мишки Злого. Его в городе боялись даже блатяки.

А мои двоюродные были с ним на равных, когда не было курева, просили у него, даже не называя его дядей, а говорили:

-Мишка, дай подымить.

И он им всегда давал, иногда совал им в карманы сторублевки:

-Фарт был, лопайте, свинята.

-Богатый такой?-спрашивал я о нем своих двоюродных.

—Когда -как, -пояснил Коляша, -у него в кладовухе даже армянский граммофон был, ящик такой, а пластинка вроде дырявой тарелки.

Мне вспомнился музыкальный ящик Самсона, спросил Коляшу, такой ли у дяди Миши был?

Коляша кивнул. Нет, посмотреть нельзя. Давно уже он этот ящик пропил. Он много чего приносит, потом продает, пропивает. Где берет? На гоп-стоп добывает. Что такое гоп-стоп? Долго рассказывать ...

Двоюродные были кладезем новых знаний. А еще я любил ходить на Петровскую потому, что мне нравилась тети Олина Светка, еще одна моя двоюродная сестра. Она была круглолицая, как и я, у нее были похожие на мои, карие большие, чуть навыкате, глаза, а в уголках полных красивых губ прыгали смешливые ямочки.

Еще при первом знакомстве она сказала:

-Мама уйдет, в буфет полезем, варенье будем воровать, надо из каждой вазочки поровну отбавить и будет незаметно...

Приходя к нам, Светка быстро съедала все, чем ее угощала мать, после просила меня украсть еще вкусненькое. Она очень любила всё сладкое...

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

Однажды летом меня позвала Верка Зиновьева играть на детскую площадку кондитерской фабрики. Площадка была в роще. Но играть там мне не нравилось. К столу с настольными играми было не пробиться, к качелям стояла очередь, сильные отталкивали слабых

Но вышло так, что пришел на площадку эту фотограф с фотоаппаратом ящиком, накрылся черной тряпицей, навел аппарат, посыпал что-то такое на полочку и вспыхнуло все вокруг синеватым светом, как молния. Старшие пацаны заговорили:

"Магний-магний!"

А потом появилась в газете фотокарточка. На ней можно было нас с Веркой узнать, мы были там запечатлены среди другой ребятни.

Как жаль, что фотографы не смогли запечатлеть все дома, тополя, весь наш город, все наше время.

Если бы они могли заснять все, то остался бы на снимке и угловой дом, на котором со стороны улицы Сибирской висел номер двенадцать, а со стороны Тверской он был обозначен номером тринадцать. Выходило, что жильцы дома могли выбирать себе адрес по вкусу.

Впрочем, в доме жила всего одна семья -Войновичи. Остальная площадь здесь была занята детскими яслями и поликлиникой.

Глава семьи был сапожником, по национальности он был не то сербом, не то хорватом, кто у нас отличил бы серба от хорвата? Но на Тверской знали, что Лазарь когда-то служил в австрийской армии. Он попал в плен, застрял в Томске, женившись на русской. Семья жила в малюсенькой комнатушке на площади поликлиники, жена Лазаря -тетя Маруся -работала там уборщицей.

Сам он возле колченогого стола весь день чинил сапоги, валенки, ботинки. Ребятня играла обрывками дратвы на попу. Войновичи жили так бедно, что соседи руками разводили:

-Австрияк, чего с него возьмешь?

У Войновичей было трое детей. В те времена каждый второй житель в Томске умел сучить дратву, орудовать шилом. На Тверской жили почти сплошь сапожники. Было непонятно: на какой заработок может рассчитывать Лазарь при таких условиях? Оклад же уборщиц, как известно самый низкий на свете.

Вольготно жилось в нашем околотке. Утром неподалеку от нашего дома играл на рожке пастух, и хозяйки провожали буренок в стадо. Вечером коровы возвращались усталые, и каждая степенно несла полное вымя.

Все было праздником: сок березы, картошка из костра, купание, рыбалка. И все:
запахи, звуки, все -со мной. Все! До цвета ленточки в волосах у Томки Усачёвой.

Мишка Шмон был кумиром нашей улицы.

Не потому, что вырезал свои бархотки во время киносеансов с облицовки лож, Резали там бархат и другие. И не потому, что чистил он отменно. У нас многие имели ящики со следом для ноги и с внутренними полочками для щеток, бархоток, кремов. Почти каждый пацан умел прилично чистить, жонглировать щетками, выстукивать ими на ящике разные ритмы.

Мишка Шмон чистил в центре, этим все сказано. За любое место в центре взрослые парни ставили друг другу фингалы, выбивали зубы, а иногда резались сапожными ножами. Конечно, на Тверской вы можете садиться со своим ящиком и щетками, где угодно и сидеть сколько угодно, никто вас не тронет, но и ни одного клиента за весь день вы здесь не дождетесь.

Тогда люди предпочитали ходить в хорошо начищенной обуви. В сырую погоду надевали калоши, были тогда даже калоши для женских туфель на высоком каблуке.

Сейчас в гостях мы разуваемся и ходим по комнатам босиком, либо в шлепанцах. Человека это принижает, снимает праздничный настрой. А как было раньше?

Скинул калоши, остался в сияющих туфлях, элегантный, хоть чечетку танцуй

—Райкомовский, который мне всегда рубль кидал, и сдачи не спрашивал, больше в чистке не нуждается, -сообщал однажды корешам Мишка, -повязали его ночью, говорят, у него "дура" была, отстреливался, он же матрос бывший.

Верхушку берут, вроде вся темная.

Но что "сдвинутого" взяли, так это смех! Какой он шпион-вредитель?

При мне прямо возле "Максимки "и замели. Он с утра похмельный пришел: "Граждане, моментальные портретики!" Вот тебе и портретики...

"Сдвинутого" выпустят, -решила тогда Тверская. Попугают, чтоб возле -«Максимки" не ошивался, и выставят. Кому он нужен, ненормальный?..

Но "сдвинутый" исчез, как в воду канул. Надо сказать, что мужичонка это был тихий, безответный, всегда пьяненький и небритый. Он подрабатывал тем, что, быстро рисовал в блокноте портрет любого желающего, не отрывая карандаша от бумаги.

Получалось похоже, и стоило всего полтинник. Вырвет страничку из блокнота и получай. А за рубль он рисовал Сталина или Ленина, по желанию заказчика. Вот это его, видимо, и сгубило. Не рисуй кого не надо.

Тревожно стало в городе. Но на Тверской жили по-прежнему: у нас народ простой, к нам не подкопаются

А потом это случилось. Ночью кто-то стрелял в окно Войновича, который засиделся допоздна за своим сапожным столом. Лазарь остался жив и даже невредим.
Пуля пробила в стекле аккуратную дырочку, от которой разбегались в разные стороны трещинки, как лучи. И мы все ходили в тринадцатый номер и рассматривали эту дырочку.

Кто и за что мог пытаться убить сапожника? Мужик мухи не обидит, обувь чинит добросовестно, плату берет скромную. Факт оставался фактом: была дырочка в стекле, и каждый мог видеть и даже осязать.

А через несколько дней в тринадцатый номер пришли двое в форме велели Войновичу собираться

Тетя Маруся запричитала:

-Куда же вы его берете? Деток же трое, все малые, чем же я и: кормить буду? Один сказал:

-Соберите ему постель и продукты на три дня, поняли?

Это несколько успокоили тетю Марусю, но продуктов на три дня он, собрать не мота, не было.

Постели как таковой тоже не было: спали всей семьей вповал на полу. Постилали лоскутное стеганое одеяло. Его-то и отдала тетя Маруся мужу, мол, три дня и без подстилки перебьемся.

Войнович не вернулся.

А слухи росли, множились. За рекой Томью на высоком холме возвышалось недостроенное здание из красного кирпича.

Возводили там санаторий для туберкулезных детей. Оказалось, главный строитель бы вредителем. Он знал, что будет оползень, что верхушка холма сползет озеро вместе со зданием санатория, на это и рассчитывал: погубить больных пролетарских детей.

К тому же он и материал взял не такой, здание построил неправильно, Можно было слышать разные мнения:

Вот сволочи, фашисты, даже детишек не щадят!

-А ты уверен, что обязательно будет оползень? Может здание сто лет простоит...

Тверские пацаны смотрели за реку, на красное кирпичное здание, и думали:

может, сейчас и обвалится? Прямо на наших глазах? Ну, такое с везение бывает редко, чтобы что-то интересное увидеть, Вот ляжешь спать, утром встанешь, а здания за рекой на холме нет.

Проходили дни, а здание оставалось на своем месте.

Так это здание за рекой, именовавшееся в городе "красным", простояло около тридцати лет. Его не достраивали. А когда его достроили и оштукатурили, оно стало белым. Так и стоит до сих пор, а историю его все забыли.

А тогда что-то пугающее, невидимое, пробиралось по нашим закоулкам, поскрипывало ночью ступеньками в нашем бывшем купеческом доме. То ли мышь в кладовке банку уронила; то ли стукнул кто?

Туалет у нас был во дворе один на всех жильцов.

Бывало, что бродят по двору двое-трое жильцов, в сторону туалета поглядывают, очередь.

И вечно в этом туалете бумаги на гвоздике не хватало. Мы выписывали много газет, после читки их использовали для растопки и прочих хозяйственных нужд, в том числе и для туалета, обычно я их и относил туда.

Но в те дни мать мне сказала:

-Газеты больше не смей в сортир носить и не рви. Может, в газете портрет какой или статья...

Я попытался пошутить, мол, чем же подтираться, но она закричала:

-Чем-чем! Прошлогодним снегом, сеном-соломой! Тронешь хоть одну газету, выпорю! Складывай прочитанные номера в стопку по порядку...

Зимой я катался на горке напротив дома или на коньках по Ушайке. Там вообще-то мне кататься запрещалось: можно было попасть в прорубь.

Томительно тянулись дни, когда меня валила с ног простуда. Отец шелестел газетами:

-О! Конференция приветствует приговор троцкистам! Гм... солидарность с испанским пролетариатом... Надо Борьке шапочку-испанку сшить, сейчас многие дети такие носят... Ага! Укрепление бдительности...

А я был так рад первой капели! Шла весна 1937-го года.

Я все чаще уходил в дальние кварталы, открывая для себя все новые уголки Томска. Каждый дом имел свою особинку, свою резьбу, свои пристройки. У нас в доме лестница

внутри, а вон дом, где лестница идет возле наружной стены. Обнесенная высокими перилами, она выглядит так загадочно!

Забрел я на Загорную улицу и вспомнил, что там, в одном из домов, живет Лида Маркович. Девушка лет пятнадцати, у которой глаза, как роднички. Лида была в два раза меня старше, но покорила меня совершенно тем, что общалась со мной, как с равным. Она открыла мне сердечную тайну, о которой, по ее словам, не знал никто.

Мы так славно с Лидой играли!

Попав на Загорную, я вспомнил, что полгода не видел Лиду, что почему-то ни она, ни ее родители так и не навестили нас, хотя обещали.

Вон там во флигеле, в глубине усадьбы живет Лида. Она мне непременно обрадуется. Я зашагал по подсыхавшей тинистой тропинке. Из соседнего дома выскочила женщина:

Она тянула на меня очень странно:

—Тебя, кто к Марковичам послал? Ты их родственник?

Я подумал, что она сердится оттого, что я могу побеспокоить людей не имея для того основания, так она считает.

Я торопливо пояснил, что нас с Лидой связывает большая дружба, я спросил дома ли она.

Женщина ответила вопросом на вопрос:

—Ты сам пришел или тебя родители послали?

До сих пор помню интонацию эту, смесь злобы, подозрительности страха, что ли. Я, как мог, пояснил, что пришел по своей инициативе, намекнул, что родителям знать об этом не обязательно, но Лида мне будет рада, я уверен. Женщина прохрипела мне прямо в ухо:

-Быстро поворачивайся и иди отсюда. Маркевичи враги народа. Забудь сюда дорогу.

-А Лида?

-Нет там никакой Лиды! Что -кто там живет? Говорят тебе, иди отсюда! Скажи родителям, чтобы они тебя выпороли хорошенько!

Я уже многое знал о вражде соседей, о разных кознях, когда на вашу капусту сажают гусениц или в вашу поленницу подкладывают полено начиненное порохом. И я подумал, что тут что-то подобное.

Пришел домой и весело рассказал родителям об этом приключении, о том, как эта тетка велела им сказать, чтобы меня выпороли.

Я думал мать возмутится, отправится на Загорную и покажет этой дуре, где раки зимуют. Но мать схватила ремень и, действительно, принялась меня хлестать, приговаривая:

-Мы тебя посылали туда? Посылали?! Мы сами ходим туда?.. Ах ты, паразит! Поговори еще! Мало ли что -были... Это когда было? Забудь это фамилию и не болтай ни с кем! Запорю!

А я про Лиду до сих пор помню. Что стало с нею? Не знаю. Никогда ни одной минуты я не верил, что Лида способна на что-то плохое.

Вечерами со странной интонацией отец зачитывал отрывки из доклада товарища Эйхе: "Они, прежде всего, точили свой отравленный фашистский нож, против того, чье имя горит в сердцах миллионов трудящихся не только нашей страны, но и всего мира, они готовили подлое убийство, охотились, как дикие звери, за нашим великим вождем, за тов. Сталиным... "

Прочитав это, отец обращался к матери:

-Одного не пойму, как мог охотиться за тов. Сталиным извозчик с Томска-первого, ну, этот, у которого пролетка коврами украшена, Мануйлов?

-Не умничай! говорила мать,-не наше это дело.

А я думал: отчего у больших начальников фамилии какие-то особенные. Вот хоть того же Эйхе взять. Отчего это так?

Ночами, думая, что я уже уснул, отец с матерью переговаривались.

-Может, нам его портрет купить? -предлагал отец, сейчас в книготорге хорошие есть, я видел

Мать раздраженно отвечала:

Только этого гуталинщика мне в доме и не хватало!

—Ну что ты, Мотя, зачем так кипятиться? -успокоительно говорил отец, это же маневр такой суворовский, повесим, а любоваться необязательно.

-Брось! Люди, думаешь, не понимают? Не было портрета, появился. Тебе-то чего бояться? Совсем без причины они вроде бы не берут.

-А Войнович?

-Там зацепка есть: почему он из плена на родину не вернулся? Чего иностранцу в чужой стране болтаться? Или этого еврея, Барона, забрали. Человек с такой фамилией сам по себе подозрителен. Тоже, навыдумывали себе фамилий, он бы еще Герцогом назвался бы!

Из Америки приехал, черт его сюда принес, племянница у него, видите ли, тут, Люлечка. Вот теперь ни Люлечки, ни, может, света божьего не увидит больше,

А мы ему вельвет Борьке на костюмчик отдали. Вельвета не жалко, а вот на примерку к нему ходили, ты все там рассиживался Барон да Барон, про Америку интересно рассказывает. Эти рассказы нам боком могут выйти.

-Разве мог я подумать?

-Ладно, молчи, не трясись. Без какой-то зацепки, просто так, они не берут.

Приличие соблюдают ...

Я засыпал в радостной уверенности, что все будет хорошо. К отцу не подкопаются, это мать сказала. А если Барона забрали, так это потому; что он был в Америке. Нормальные люди живут всегда в Томске. Рождаются, живут и умирают в Томске.

Нормальных людей никогда не забирают. На то они и нормальные. А пройдет лето, и осенью я пойду в школу.

Будущее казалось прекрасным. Я мечтал стать капитаном, но не насовсем, а так, поплавал бы немножко по морям и океанам, а потом -начальником в артели или же охотником на тигров. Еще бы стать карманником, но не насовсем, а чтобы пацанам доказать.

. Я бы вырезал кошельки возле кассы кинотеатра, и кормил бы знакомых досыта мороженым, а все бы меня хвалили и боялись, как Мишку Шмона боятся.

Вечерами иногда мне удавалось подслушать родителей.

-Купил себе польский отрез табачного цвета! -сердилась мать. Пошил английский костюм, пиджак с разрезом. Теперь в этом костюме из дома не высунешься.

-Почему же? -возражал отец, -не украл, отрез в торгсине за золото купил. Этот отрез туда ссыльные польские паны сдали, а я рабочий.

-Умник! Заработал он! Им же это, как красная тряпка быку!

-Ладно! Заведи-ка, Мотя, патефон, знаешь, ту, новую пластинку? Не хочешь? Я сам заведу.

На аллеях центрального парка

В тесных грядках цветет резеда,

Можно галстук носить очень яркий

И быть в шахте героем труда.

Как же так, резеда? И героем труда?

Почему, растолкуйте вы мне!

Потому что у нас каждый молод сейчас

В нашей юной, прекрасной стране...

Бодро напевал слащавый тенор, и весело крутилась пластинка. Я потихоньку слез с кровати и заглянул в "залу", отец пытался крутить маму в ритме фокстрота.

-Отстань! вырвалась она, развеселился! Теперь твой табачный фрак так и будет в шифоньере висеть.

А я думал: жаль, если гости к нам перестанут ходить. Такие интересные у нас гулянки бывали! Отцу столяр знакомый такой обеденный стол сделал, что его, если надо, раздвигают, и он становится в три раза длиннее едва раза шире.

Мать обычно готовила для гостей холодец, винегрет, который назывался у томичей студенческим мясом. Отец маму представлял гостям оригинально, сделает театральный жест-рукой:

-Матрона лен дре р-роман те ля пасе!

Кажется, что звучный титул объявил, а вдумаешься, это он по-украински сказал, что Матрена лен дерет, а Роман теленка пасет.

Братья -кто с гитарой, кто с балалайкой, кто с мандолиной. Тут тебе и куплеты смешные, и романсы грустные.

-Исполняется новое произведение великого акына Джамбула!—объявлял отец, наигрывая на балалайке, как на домбре, подражая голосом степному певцу.

Великого Сталина пламенный зов
Услышал всем сердцем, всей кровью Ежов Когда
засияли октябрьские зори Дворец штурмовал он
с отвагой во взоре. Ползут по
оврагам, несут изуверы

Наганы и бомбы, бациллы холеры...
Но ты их встречаешь, силен и суров,
Испытанный в пламени битвы Ежов.
Враги нашей жизни, враги миллионов
Ползли к нам троцкистские банды шпионов,
Бухаринцы: хитрые змеи болот,
Националистов озлобленный сброд.
Они ликовали, неся нам оковы,
Но звери попались в капканы Ежова,
Великого Сталина преданный друг
Ежов разорвал их предательский круг.

-Густо наперчил свое блюдо великий акын! -сказала мать.

Отец объявил народную песню про двух соколов. Они на дубу прощались, и один почему-то решил переложить заботы на другого, а тот ответил:

Позабудь тревоги,
Мы тебе клянемся, Не свернем с дороги.
И сдержал он клятву, Клятву боевую:
Сделал он счастливой
Всю страну родную.

Дядя Венедикт рассмеялся и запел лихую, цыганскую, с припевом:

Всюду деньги, деньги, деньги,
Всюду деньги без конца, А без
денег жизнь плохая, Не годится
никуда...

Дядя Саня сказал, что раньше этот припев пели по-иному: "Всюду деньги, господа...", а теперь вот, из-за политики, рифму испортили,

Еще отцовы братья рассказывали интереснейшие истории о Томске дореволюционном, анекдоты, даже фокусы показывали.

Один из фокусов был хулиганским: дядя Костя становился на четвереньки, кричал: "Огонь"!» и громко пукал, отец в этот момент подносил к его брюкам спичку, и вспыхивало синее пламя.

Потом я с друзьями не раз пытался повторить этот эффектный номер. Ничего не получалось.

А какие у отца были знакомые! Летчик гражданской авиации, санитарный врач, самый настоящий художник, подаривший нам несколько пейзажей и нарисовавший мой портрет при помощи фотокарточки.

Отцу самому учиться не пришлось, так он все мечтал о какой-то необыкновенной карьере для меня, и очень не хотел, чтобы я тоже стал часовщиком. Они с матерью все спорили, кем я буду, пытались выяснить, какие у меня наклонности.

Вот и художника Пинегина, просипи меня проэкзаменовать. Он дал мне лист бумаги и говорит:

-Нарисуй самолет!

Я нарисовал, он посмотрел, сказал, что это вид сбоку, и предложил нарисовать самолет в фас, то есть вид спереди. Я художнику ответил:

Никогда самолетов спереди не видел, они всегда боком летают.

Засмеялся Пинегин и перестал приставать. Ну, я-то понял, что мой самолет ему не понравился, потому что мать с отцом огорчились. А чего огорчаться и чего допытываться, кем я быть собираюсь? Мне пока и так хорошо.

А разве не радость, если к вам приходит самый настоящий клоун, пусть даже он без грима. Клоун этот работал в цирке рыжим, а без парика он был брюнетом, тощим и длинным. С ним, для контраста, работал в паре лилипут, а потом этот лилипут повесился, как пояснил рыжий, от горькой любви.

Рыжий в эти дни много пил, сидел у нас на кухне и горько плакал.

-Как же вы друга не уберегли?-спросила тогда мать.

А я подумал: да как уберечь-то? Меня посылают на Петропавловскую за молоком, а у молочницы дочка Клара, голова у нее в маленьких таких кудряшечках. И все! И любовь моя тоже не очень-то сладкая: и Клара меня не замечает, и пожаловаться никому нельзя - засмеют.

Да, хороши были у нас гулянки!

У наших соседей Есманских гулянки тоже были веселые, но все же у них было не так интересно. Да и пели они с гостями чаще всего: "Посияла огирочки", "Цыганка гадала", "Распрягайте, хлопцы, коней".

Последнюю песню, впрочем, пели и у нас. Да песню про этих самых коней поют вообще в городах и весях, ее знает всяк русский человек. Потому наверно она популярна, что есть в ней все: и отдых после тяжких трудов, и романтика любви.

Верх дома занимали мы с семьей Есманских пополам, но это пополам было не совсем пополамное. До революции весь верх, видимо, занимал один хозяин, было у него три комнаты и кухня. Теперь ту комнату, дверь в которую вела прямо из прихожки, занимали Есманские, напротив кухня, из нее ход в две наши комнаты.

Кухонный стол у нас был общим, обедали за ним по очереди. Этот стол был источником недоразумений: то одной, то другой хозяйке казалось, что из чашки убавилось масло, что за ночь в вазе стало меньше варенья. Если честно, то я лишь раз попробовал соседское малиновое варенье, а крик был и тогда, когда я ничего не брал.

В кухне располагалась большая русская печь, с огромным шестком и отверстием для топки, прикрытым заслонкой, с подпечком для ухватов и кочерег. В печи томилось молоко, прели щи да каша для двух семей.

Иногда в дымоходе коптили окорок или рыбу. Под самым потолком кирпичная перемычка отделяла от кухни лежанку, на которую можно было попасть из прихожки.

Георгий Фаддеевич тогда мне казался совсем древним дедом, хотя было ему всего лет пятьдесят. Всё относительно!

Сосед наш спал на печи. Он утверждал, что раскаленные кирпичи лучше всяких врачей вылечивают почки, печень и другие органы.

Мне всегда хотелось самому испытать целебное свойство лежанки. Меня манили темнота, жар глушь. И вот, бывало, протянет Фаддеевич руку, и я уже рядом с ним, На тряпье, возле лагушка, в котором упревает брага.

В сильные морозы в этом закутке так хорошо! Кирпич жжет спину, терпеть уже невозможно, ты покряхтываешь, и кажется, что через каленые кирпичи действительно в организм вливается здоровье.

Однажды под новый год Есманский взгромоздил на лежанку двухведерную стеклянную бутыль с мутной жидкостью. Он запоздал поставить брагу, теперь решил максимально ускорить брожение, плотно забил горло бутыли деревянную пробку.

Хорошо, что в эту ночь меня не было на лежанке. Под утро квартиру потряс взрыв. Вопила жена Есманского, мы кинулись на кухню, включили свет, и увидели в прихожке на полу мокрого Георгия Фаддеевича, повторявшего:

-Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Вокруг лежали осколки, печь сильно пахла брагой. Мать вполголоса костерила соседей.

А мне соседи нравились! Георгий Фаддеевич был пряничный мастер-кондитер, а дома делал штампы для печений. Строгая для этой цели полено, Фаддеевич учил меня очень смешным стишкам и прибауткам:

-Серп и молот смерть и голод! Ворошилов -вор вшивый! Сталин -Сралин! -выкрикивал я, только что усвоенные стихи. Мать поймала меня за ухо: -Кто тебя научил? Фаддеевич?! Ну, сволочь! Не вздумай во дворе или еще где это сказать, лишат отца и матери!

Бледная, побежала она к Есманским. Что там было, не знаю, но, забежав в комнату, она вдруг упала, стукнувшись затылком о поп. Хорошо, что как раз вернулся с работы отец. Он прыснул на нее водой, дал понюхать нашатырного спирта, поясняя мне при этом;

-Немедленное прочищение мозгов.

Отводившись с матерью, он тоже пошел к Есманским. Вернувшись, сказал мне:

-Фаддевич болтал это по глупости. Но ты же у нас умный?

Естественно, я считал себя умным.

Ночами я с еще большим интересом старался разобрать -о чем шепчутся родители?

Дикторшу местного радио заорали, старушку. Она была из дворянской семьи. Держали ее на радио за хорошо поставленный голос, за дикцию, безукоризненное произношение и эрудицию.

Когда она читала сообщения, то слушателям все было ясно и понятно. Другие дикторы ей и в подметки не годились. Мы всегда радовались, когда передачи вела именно она.

Но в последнее время она, видимо, много думала о том, что органы забирают очень часто бывших дворян. Раз вернулась домой и поняла, что кто-то побывал в ее комнатушке. Замок был цел, но салфетка на стопе была сдвинута с ее обычного места. Пачка писем была завязана совсем не таким узлом. Она убедилась, что нескольких писем в пачке недоставало.

Дикторша стала нервничать. Ей казалось, что она по радио может сказать не то, что нужно. Она даже поделилась своими страхами с сотрудниками. Ее успокоили.

Диктору надо приходить в студию к половине шестого. Она не выспалась, очень волновалась, и голова у нее болела, и неожиданно для себя она сказала в микрофон:

-С добрым утром, господа!

Зачем такой стародавний рефлекс на беду сработал?

Сидела в студии перед микрофоном, машинально читала текст, а дверь с крючка рвали незнакомые ей люди, дверь была застекленной, и она видела их искаженные яростью лица.

-Боже мой! повторяла мать. Мухи не обидит, отзывчивая. Она у нас пунктуацию и орфографию читала, когда я на курсах делопроизводителей была.

-Господа, это уже политическая статья,-сказал отец.-Стенка обеспечена ей... Я не дворянин, никто, но стал от каждого шороха вздрагивать...

-Пугает,-говорила мать, -хочет всю страну в дрожь вогнать, так-то ведь управлять легче...

-Что ты, Мотя, говоришь. Может, он не все знает, может, искажение на местах?

-Черта с два... Он затеял, а уж на местах-то рады стараться. Человека в кутузку, а вещички -себе... Как во времена испанской инквизиции власти. Надо сидеть, как мышам в норке...

Гости все же иногда приходили к нам, хотя гораздо реже, чем прежде. Почему дети так любят общаться с соседями, бывают рады гостям? Члены семьи все изучены ими, а каждый гость открытие какой-нибудь новой стороны мира.

К нам приходил в гости летчик, стройный, сильный, с невестой. А потом пришла одна невеста, осунувшаяся и постаревшая, и рассказала, что Федор повесился, так как комиссия признала его негодным к полетам: сердце больное.

Я и видел-то этого Федора всего раз, да и только мельком, но думал о нем потом долго, и в детстве его не раз вспоминал, и в юности, и в зрелые годы. Такой здоровенный! В небо можно подняться не только на крыльях самолета. Зачем ты, Федор, мне помнишься?

Солнце калило нас жаркими стрелами,
Дождь пулеметом строчил.
Буря и холод нас смелыми сделали,
Ветер нас петь научил.

Сколько полемизировал с родителями по поводу песни. Солнце калило стрелами? Но почему не кололо? А пулемет при чем?! Родители отвечали, мол, закаляться надо, чтоб стать сталинским соколом, об этом песня.

Тогда на стадионе "Медик" была вышка, с которой каждый желающий мог прыгнуть с парашютом, правда, парашют был привязан к веревке, и спускались вы с вышки не столько на парашюте, сколько на этой самой веревке.

Родители там прыгали, мечтал о прыжке и я. Не довелось. После на Дальнем Востоке не раз взлетал в небо на американском транспортнике "Дугласе", прыгал. Ну, небо, ну и что? Видимо, было у Федора нечто такое особенное в устремлениях, в характере. Каждый прикипает с сердцем к какому-то делу, а почему не всегда сможет объяснить.

ДЕТСКАЯ МОЯ КРОВАТКА

Однажды отец пришел домой расстроенный и вполголоса сказал матери:

-Маху мы дали с этим поэтом... арестовали его... ты совершенно права была: сейчас и самим лучше дома сидеть и к себе не звать...

-Да ведь он приходил, когда все спокойно было, сказала мать, Кто мог подумать? Блаженненький, кому он мог мешать?

Дяди Костина жена, староверка, навещала Клюева, носила ему просфоры, булочки. Поэт для староверок был кем-то вроде проповедника. Мои же родители, услышав о нем, проявили интерес к нему, как к столичному литератору.

И однажды Константин Николаевич появился в нашем доме со странным человеком небольшого роста, одетым в поношенную поддевку. Есманские его даже за нищего приняли.

Константин Николаевич быстренько провел его через общую кухню к нам, и в нашей комнате пришелец запричитал, заокал:

Отец сказал мне:

-Разуй глаза, настоящий поэт пришел.

-Как Пушкин?-уточнил я, ибо незнакомец походил не то на извозчика, не то на

татарина-старьевщика.

Я бы сразу и забыл этого человека, если бы не фамилия. Я спросил его:

—Ты клюешь, как птичка?

Он ответил что-то в том роде, что да, клюет с древа российской словесности сладкие ягоды поэзии.

Помню, меня поразил акцент, казалось, что человек нарочно коверкает слова, притворяется, как клоун. Я ведь жил всегда в Томске, здесь никто никогда не окал, а говорили, как и по радио говорят, чуть акая на московский манер. А тут человек не только окал, но и напевно растягивал окончания слов.

Матери очень хотелось послушать настоящего, известного поэта. Она любила Есенина, Блока, а Маяковского недолюбливала.

Когда пригласили гостя к столу, речь и зашла об этих поэтах, об их взаимоотношениях. То и дело звучало: "Есенин-Есенин!";

Потом Клюев читал свои стихи, Мне они не понравились, ибо я в них почти ничего понял. Я решил: нет, не Пушкин, гораздо хуже. И "Конька Горбунка" ему, видимо, тоже слабо сочинить.

А теперь вот, оказывается, этого самого старичка забрали. А я думал, что таких старых уже и в тюрьму не берут.

После ареста этого поэта, мать была очень расстроена. Отец с матерью перестали по выходным ходить в гости. И к нам редко кто теперь заглядывал.

Из шести отцовских братьев навещал нас только Сергей Николаевич. За излишнюю любовь к горячительным напиткам его сняли с должности директора карьера. А пил он по его словам потому, что работа была рискованная, с взрывами связанная.

Покинув карьер, он стал работать ассенизатором. Сам он обозначал свою новую должность более точным и емким русским словом.

Стоило отцу и матери отвернуться, он опустошал все флаконы с одеколоном и духами, куражился и кричал:

— Притихли? Попрятались в норы, как сурки. А я не боюсь! Я честный советский гавночист, и мне нечего бояться. Пролетарию нечего терять, кроме своих цепей!

— Перестань паясничать, -сердился отец, я, что ли, не пролетарий? Тоже горб гну!

— Ну, так и не трясись, как желе!

Вскоре забрали портного, который шил отцу костюм табачного цвета. Возле артучилища был у этого портного домик. Меня удивляла вывеска: «Военно-гражанский портной». Как это? Отец пояснил. Портной этот шьет и военную форму, и гражданские костюмы.

— Военторг. Дефицит. Консервы! — сказал отец по поводу ареста портного.

Обвинили закройщика в шпионаже. Мол, клиент скинет китель, портной поведет командира за ширму, а жена в это время карманы кителя обшарит, секретные документы скопирует. Её взяли вместе с мужем.

Рассказывали: по ночам по городу снует черная легковушка. Клаксон каркал, люди в домах обливались холодным потом.

Но "черный ворон" ездил больше по центру. Видимо, считалось, что профессоров и других солидных людей нужно и арестовывать солидно. Простолюдинов в НКВД привозили на телеге или приводили пешком.

И опять ночью подслушал я разговор. Курдюков был в Москве. Ежов-то пигмей, карлик. И садист к тому же.

Я не вытерпел и спросил:

— Что такое пигмей? Карлик — я знаю, маленький. Но какой же он маленький! Нарком ведь, я портрет видел. Ну, садист, потому что всех садит. А пигмей — что?

Мать вскочила и больно дернула меня за ухо:

— Будешь родителей подслушивать, убью! А будешь болтать, этот садист нас вмиг посадит!..

С той ночи они больше не шептались.

В те дни домоуправы обходили свои владения и требовали от жильцов, чтобы они обозначали на каждой двери номера квартир и фамилии жильцов, в них проживающих. Велено было также на воротах каждой усадьбы прибить козырек с электрической лампочкой, номером дома и названием улицы. Объясняли это тем, что так будет удобнее доставлять почту, телеграммы. Но людям эти хлопоты не очень-то нравились.

Занятия в школе должны были начаться только через месяц, мне уже все купили: ранец, аспидную доску, грифель.

А однажды ночью я спокойно спал в своей кроватке детской, я из кроватки вырос, ноги были продеты сквозь перекладины спинки кровати, не вмещались. И тут вдруг вспыхнул свет.

— Ну что вы! — возмутился я, но умолк, увидев в комнате двух военных, один стоял у дверей, другой будил мать и отца. Что я тогда подумал? Гости приходили к нам и ночью, особенно отцовы братья или приезжие из других городов, которые когда-то с отцом давно дружили.

— К папе пограничники пришли! Вставай, пап! К тебе!

— Чему радуешься, дурак! —сказала мать. Она была бледна. Пограничники на границе стоят, родину охраняют, а эти... Они ходят по ночам и детей сиротами делают.

Одному из военных это сильно не понравилось, он насупился и сказал:

— Гражданка, прекратите вражескую агитацию!

— Кого агитировать? Вы машина, механизм, колесики...

— Гражданка! — грозно сказал военный. Второй успокоительно заговорил:

Там разберутся...

— Для галочки в отчете и забираете...

— Гражданка, последний раз говорю, прекратите вражескую агитацию!— заорал первый военный.

— Мотя, прекрати, ошибка вышла. Разберутся...

— Детей сиротами делают!— яростно закричала мать.— Агитация! Решили сирот плодить?!

— Он сиротой не останется, его родина воспитает…

Я подумал: а как это родина меня воспитывать станет? Томск — моя родина. Он любим, но отца и мать люблю еще больше.

— Вот спасибо, удружили! — иронически сказала мать, пошла к шкафу и стала выкидывать оттуда папки с документами: — Почитайте вот. Служил он в Красной Армии — грамота, на работе стахановец. Нигде ни одного замечания. Рабочий, не дворянин и капиталист. Кого хватаете?

— Гражданка! Сядьте на тот вон стул и не вставайте, документы мы сами просмотрим, без вас.

И тут один военный поднял меня с кровати, а второй принялся ворошить мою постель.

Я соображал, вспоминал. В одной книжке было написано, что вот так революционеры прятали прокламации в детскую постельку. Но жандарм догадался, взял ребенка на руки, а другой жандарм эту постель обшарил. Ситуация была та же. Только меня на руки не взяли. Я просто стоял возле кроватки, дрожа от холода.

Военные обшаривали нашу квартиру очень долго. Я снова лег в кровать и неожиданно для себя вновь уснул. Меня разбудила мать:

— Посмотри на отца-то. Попрощайся, может, не увидишь никогда.

Отец поцеловал меня, слезинка выкатилась у него из глаз.

Вышли мы вслед за отцом и военными на кухню, а там, оказывается, стояли соседи, Есманские. Одетые. Видно, давно уже не спали.

Завидев отца, Георгий Фаддеевич с нежно-издевательской интонацией сказал нараспев:

— Вот та-ак, вот та-ак!

— Чего так-то, сволочь? — свирепо спросила мать. — Ты уверен, что завтра за тобой не явятся?

Фаддеевич умолк, в глазах был ужас.

На другой день к нам пришел домхоз по фамилии Штанев. Он давно набивался в приятели отцу. Он нам эту квартиру на втором этаже и устроил. Матери Штанев раньше всегда целовал руку.

Теперь Штанов обратился к ней официально:

— Гражданка, вы выселяетесь из этой квартиры как семья врага народа.

— А куда ж мы пойдем?

— Меня не касается. Грузчики, приступайте!

Два верзилы в широченных штанах и тяжелых смазных сапогах принялись хватать наши вещи, и таскать, лестница у нас была крутая, в два оборота, спускать тяжести неудобно. Штанев сказал:

— Вышвыривайте прямо в окно!

Верзилы гоготали. Через заборы испуганно смотрели соседи.

Половина вещей поломана, и где ночевать? Конечно, кто-нибудь из родственников на ночлег пустил бы, но нельзя было оставить вещи, растащат ведь все до последней ложки.

Никто к нам не подходил, никто ничего не спрашивал.

Пригласила нас к себе ночевать Агафья Васильевна Дубинина, она ни одной фразы не могла выговорить без мата, но душа у нее, видать, была добрая.

— Не плачь, Мотька! Давай перетаскаем твое шмутье в мой сарай.

Мы ночевали теперь у Дубининых. Мать ночами плакала, тетя Агаша успокаивала. Но вскоре мать принялась искать выход из положения. Обошла всех знакомых. Но быстро поняла, что никакие связи, никакие авторитеты помочь не могли.

Я готовился к первому сентября, хотя и не знал: примут ли меня теперь в школу?

Уже холодало, мать с тетей Агашей копали в огороде картошку, когда за оградой раздался крик:

— Алямс-алямсович-алямс!

Кричал отец. Был он острижен наголо и изрядно пьян. А пьяный он всегда "алямс" кричит.

Мы с матерью кинулись его целовать, но он отстранил нас:

—Я вшивый, на мне вшей, как звезд на небе!

Агаша тут же принялась на плите греть воду, с отца сняли все до ниточки, и посадили его в темном углу сидеть голого. Потом он долго мылся, повторяя:

— На мне вшей, как звезд на южном небе.

— Вот гады! Вот гады! И тут кровоподтек, и тут синяк!

— Эх, Мотя! Разве в синяках дело?

Видно было, что не хотел нас расстраивать. Многое он рассказал, когда уже уходил на фронт, когда чувствовал себя более или менее свободным. А там с него подписку взяли, чтобы молчал.

Он бы, может, не вернулся к нам, но однажды, когда отца вели по коридору на допрос, он встретил начальника, приехавшего из Новосибирска проверять местных чекистов. В начальнике этом отец узнал друга своего детства. Вместе сиротствовали. Тот тоже узнал отца и спросил машинально:

— Николай, ты как тут?

—Тебя бы спросить надо.

— Ладно, я твое дело посмотрю...

Вот после этого отца и выпустили, взяв подписку о неразглашении. А ему так хотелось рассказать о том, что испытал. Я это чувствовал.

Квартиру нашу еще никто не занял, мы сами сбили с неё замок, перетаскали вещи, и стали жить, как ни в чем не бывало.

До школы осталась неделя, я ходил с отцом на работу.

В мастерской много часов, от самых маленьких, до самых больших. Были там такие большие напольные часы, что я в них входил, как в кабину, запирал за собой дверцу, можно было видеть там и часы-брошку, похожие на маленькую голубую капельку. Часы-

музыканты играли "Камаринскую", "Степь да степь кругом". А вот часы-гном. За спиной у гнома мешок, в руке держит часы, качает головой и насвистывает. В часах-фонтане звонок заменяли струйки: сколько времени столько струек. А однажды в мастерской чинили ипподромные часы с колоколом, на другом конце улицы было слышно.

В очередной раз шли с отцом из мастерской, отцу встретился знакомый, сотрудник газеты. Мы отошли к забору, за которым простирался огромный, опустевший огород, с кучами привядшей ботвы.

Говорил больше отец, а корреспондент лишь изредка изумленно восклицал или задавал вопросы.

Мне не терпелось попасть скорей домой. Только и слышалось: "а он говорит... а я ему отвечаю..." Корреспондент спросил что-то слишком громко. Отец сказал:

—Тише!

— Никого же нет! — сказал газетчик.

— А может, агент в землю закопался, ботвой прикрылся, у них все возможно!

Я решил поторопить отца:

— Айда домой! Долго говорите, и разговор у вас неинтересный: "я сказал, он спросил!"

— Неинтересно ему! А отца бы лишился, интересно было бы? — вспылил отец.

— Ну, Николаевич, что он еще понимает? Я о вас, как о передовике в нашу газету напишу. Не знаю — пригодится ли вам это, но сделаю обязательно...

Обещание свое этот газетчик сдержал, ничего не побоялся. Встречались и тогда люди!

Однажды мы шли возле Дома Красной Армии, почти два этажа занимал там огромный, рисованный маслом плакат. Красивый нарком Ежов, сжимает в рукавицах с иглами отвратительных маленьких человечков. На спине у каждого человечка надпись: "Шпион", "Диверсант", "Расхититель".

— Вот это рукавички! — сказал я.

— Чему радуешься? Может, на той вон колючке я сидел, кое-как сорвался…

— Так ты же, папа, не диверсант!

— Нет, конечно, но колючек этих испробовал досыта.

Он мне про историю многих томских домов рассказывал. Про одно здание он говорить не хотел. А однажды сказал загадочно:

— Здесь, сынка, людей мучили.

— Кто мучил? Белые красных?— догадался я.

— Да нет.

— Красные белых?

— Русские русских, потому, что — дураки! Вырастешь, узнаешь. А может, и нет.

Он замолчал. Мы прошли уже полгорода, когда он неожиданно сказал:

— А всё-таки — узнаешь! Не может так быть, чтобы не узнал!

Эти его слова и его чувства я понял точно много лет спустя, когда уж его и на свете не стало.

Той осенью я был весь поглощен моим первым учебным годом. И вдруг оказалось, что директор нашей четвертой школы оказался шпионом, пытался школу поджечь.

— Не верю,— сказала мать, он все лето ее белил-красил, сам за сторожа там ночевал. Зачем ему было поджигать?

Однажды пришел отец и говорит:

— Лектора Ермолаева посадили.

Этого лектора знал весь город. Он был командиром. Потерял обе руки. Вернулся в Томск и стал лектором.

Выступал он в командирской гимнастерке, в галифе и хромовых сапогах. К обеим култышкам рук ему привязывали заранее по указке.

В те вечера, когда лекцию в Доме Красной Армии читал Ермолаев, там яблоку было негде упасть. Он говорил красочно, приводил интересные, убедительные примеры, очень хорошо знал карту мира.

Мать сказала:

— Как мог навредить безрукий?

— Есманский предположил:

— Знал слишком много!

А в нашей комнате по выходным патефон во всю наяривал патриотические песни: "Мы поем о своем изобилии...", "Два сокола ясных..."

Мне больше нравилось "У самовара я и моя Маша", но отец сломал эту пластинку, сказав, что песня эта признана упадочной.

Теперь на праздники приходили к нам только родственники. Да и то все сидели как на иголках, никто не пел, не шутил.

Когда мы с отцом шли тропинкой возле Ушайки, он вполголоса говорил:

— Меня могут опять забрать и уже насовсем. Борька, ты учись только на "отлично", понял? Они ведь и членов семей не щадят...

— Потом в отчаянье махал рукой:

— Нет, вижу, что не осознать тебе!

Поскольку мебель наша была изрядно переломана грузчиками, мать просматривала объявления, выписала адрес. Там дешево продаются по случаю плательный шкаф, стулья и другие домашние вещи.

В воскресенье отправились по адресу. Старинный двухэтажный дом вблизи Белого озера. Отперла нам грустная женщина. В квартире была еще девочка с длинными темными косами.

Мебель матери не понравилась, расцветка или что-то ее не устроило.

Женщина предложила купить светильник в виде совы. Мать остановилась в нерешительности. Я спросил:

— Можно посмотреть, как он светит?

Женщина воткнула штепсель в розетку, и зеленые глаза совы засияли. Я представлял, как будут удивляться знакомые пацаны.

— Купите, купите, купите сову! — стал я просить родителей.

Девочка зарыдала:

— Память о папе!

Женщина жестко сказала:

— С голода нам подыхать с этой совой? И пояснила нам:

— Отца арестовали. Военный, ни в чём не виноват, а вот. Надо всё продать и уехать. Меня на работу нигде не берут...

Девочка продолжала плакать. Отец сказал:

— Возьмите деньги, а сову не надо, раз память... И вообще.

— Женщина отдернула руку от денег, гордо подняла голову:

— Подачек мы не берем!

— Что вы? Я сам там был... сидел...

Женщина смерила его взглядом:

— Да? Вы там были? А сейчас вы, почему здесь?

— Что же мне, по-вашему, теперь надо идти обратно, самому садиться?

Мать дернула отца за руку:

— Идём, тебя оскорбляют!

Я понял, что совы у меня не будет, а мне ее просто ужасно хотелось иметь, и я заныл:

— Я сову-у хочу!

И тут мать дала мне такую затрещину, что у меня сразу отпало желание иметь сову...

В 1941 году, когда началась война, друзья-приятели решили устроить отца в артиллерийское училище ремонтировать оптику. Специалистов не хватало. Дали бы броню.

Отец сам побежал в военкомат, попросил отправить на фронт. Он все еще помнил страшный подвал, боялся, что возвратят туда, хотел быть от него подальше. Там людей набивали в конурки так, что можно было только стоять. Бросали в камеры шкуру, всю завшивленную, чтобы людям стало еще тошнее.

Отец погиб зимой сорок первого на Ленинградском направлении, неизвестно где, ни могилки, ни места, куда можно было бы приехать.

Таковы фантасмагорические будни нашей жизни. Здесь не поклоняются праху предков, человек превращается в дым, в туман. Здесь убивают друг друга якобы во имя высоких идей, а на деле -из эгоизма.

Как я узнал после, в том подвале выколачивали из отца признание, что он являлся казначеем белогвардейской организации. Что-то более нелепое трудно и придумать.

Хожу по городу и удивляюсь. Как это все странно! Дома стоят те же, тропа, по которой ходил с отцом и матерью, та же. Их нет. А тропа есть. Дома есть.

Может, в каком-то из домов сохранилась и наша мебель? Наверно. В сарае у знакомого я обнаружил свою детскую кроватку. Валялась среди прочего древесного хлама. Я даже её не узнал. А знакомый сказал:

— Твоя родная.

Самодельная деревянная кроватка! Из неё меня, ребенка, поднимали ночью люди в форме пограничников. Стучали, надрываясь, сердца матери и отца.

Была трагедия. Но все прошло, а кроватка осталась.

ИЕРОГЛИФ ФУ

Ван Дзину было десять лет, когда он совершил путешествие из Улан Удэ в Томск.

До этого он жил с отцом и матерью в одной из фанз китайского старшины на самой окраине города. Мать и отец прислуживали старшине Янь Ченю. Мать трясла циновки, а отец делал пампушки маньтоу, пельмени дзяо дзы и лапшу для старшины и его гостей. Ван Дзин вместе с другими мальчиками и девочками день-деньской мыл бутылки для ханшина.

Но мать умерла, а потом уехал во Владивосток на базар, и не вернулся, отец. От старшины, в лицо которого нельзя было смотреть, как на солнце, пришел Вэй Го и сказал, что отец не вернется, и нужно ехать в Томск.

Ван Дзина поразили вокзалы, с огромным скопищем людей, таскавших туда-сюда узлы и сундуки. Наибольшее удивление вызвали у него имевшиеся при вокзалах специальные дома. В полу там были пробиты ряды дыр, и каждый мог войти в такой дом и справить там нужду в одну из дыр. Каждый такой дом был больше самой большой фанзы старшины, и Ван Дзин подумал, что в подобном доме можно было разместить несколько китайских семей, только заткнуть в полу дыры, да разложить на полу маты и циновки. Вэй Го посмеялся над ним.

Ехали они в телячьем вагоне на нарах, но Ван Дзину это казалось верхом роскоши. Почти на каждой остановке они бегом бежали в дом с дырами, и Вэй Го незаметно прятал в какую-либо щелку клочки папиросной бумаги, и ставил красным карандашиком возле этого места на стене иероглиф воды.

— Не твоего ума дело! —отвечал он на расспросы Ван Дзина, но пояснил все же не без самодовольства, что он —уполномоченный китайской почты. Любой китаец, увидев знак, проверит почту, и если знает кого-то из адресатов, доставит письмо.

В Томске на окраине города они нашли тюрьму, и долго стояли возле тюремной конторы, кланяясь на всякий случай каждому входящему и выходящему.

Наконец вышел Го Хань. Он одет был так же, как они: в синие куртку и брюки, но на ногах у него были не тапочки, а ботинки! Как должно быть неудобно в них ходить!

Го Хань отвел их в поселок возле красных казарм. Здесь китайцы жили в просторных полуземлянках, располагавшихся таким образом, что образовался посреди них обширный двор. Дымились в этом дворе жаровни, сохло на веревках белье, работали парикмахеры, поставив под тополя стулья, с прикрепленными к ним зонтами.

Здесь был свой старшина. Официально он числился заведующим мастерской по ремонту зонтов, на самом же деле торговал опиумом. Две землянки в этом поселке были курильнями.

Го Хань, работавший в тюрьме рассыльным, сказал Ван Дзину:

— Никогда не посещай курильню, мой мальчик, не пей ханшин, и не играй в карты. Был случай, когда в этом дворе двое проиграли всё и стали играть на жизнь. И оба —проиграли. И перекинули они веревку с двумя петлями через то вон дерево. Надели они петли на шеи, и стали тянуть, кто, кого —перетянет, кто первый умрёт…

Твой отец был поваром. Достойное дело! Я помогу тебе устроиться посудомойщиком в русскую столовую, а ты старайся и приглядывайся к тому, что и как делают русские повара.

Вэй Го остался помогать старшине в его делах, а Ван Дзин уже на другой день мыл посуду в столовой.

Через десять лет Ван Дзин уже был поваром в рабочей столовой. Его соотечественники сапожничали, портняжничали. Иные собирали утиль по дворам, и с раннего утра было слышно в разных концах города:

-Тяпка, лесина, гальёша!

Другим посчастливилось устроиться заведовать ларьками утильсырья, или открыть мастерскую зонтов. Много было китайцев-чистильщиков обуви.

Третьи с зари и до зари гнулись над грядками своих теплиц. Именно у них томичи учились выращивать ранние овощи. Но вырастить так рано, такую ровную сочную редиску, какую выращивали китайцы, не удавалось никому. А еще китайцы выращивали ранние укроп, петрушку, лук. Бывало, снег еще не стает, а уж по базару несется крик:

— Ледиза! Ледиза!

Были среди китайцев удивительные мастера по изготовлению ширм. Китайцы продавали на базаре надувные шары, с намалеванными на них смешными рожицами. Стоило нажать такой шар, как он истошно вопил: "Уйди! Уйди!" То-то радости было малышне.

А один таинственный китайский старик в летний праздник утроил в городском саду фейерверк в виде дракона. В темноте майской ночи бабахало, трахало, дракон распускал свой феерический хвост.

Вмешалась милиция. Впредь фейерверки в Томске устраивать было запрещено, во избежание пожаров и тем, чтобы не пугались лошади и собаки.

Ван Дзин никому не завидовал, даже китайскому старшине. Он получал твердый оклад, но ни копейки не тратил на питание. Он был членом профсоюза, в столовой его называли уважительно Иваном Семеновичем, ему были подчинены посудомойщицы, раздатчицы, младшие повара, уборщицы.

И жил он не полуземлянке, а имел комнатку в настоящем каменном доме на Обрубе. Фарфор — на полочке, литографии: боги и герои вальяжничают на фоне разлапистых сосен. Висел на цепочке фонарь из цветной бумаги с деревянным донцем, на котором укреплялась короткая красная свеча. Над входом висели длинные полоски красной бумаги с иероглифом "Фу", обозначающим счастье.

Тревожили лишь думы об отце. Он спрашивал всех, кто приезжал навестить Вэй Го.

Пошел к нему в очередной раз. Тот принял Ван Дзина в своей землянке, лежа.

Вэй Го смотрел на большой термос, на котором были изображены танцующие журавли, и молчал. Он был теперь богат. Он собирал деньги с курильщиков опиума, он отвечал за посев и охрану конопли на обширных пустырях возле Ушайки, возле казарм и за Аптекарским мостом, везде, где проживали китайцы. Но на беду, Вэй Го сам пристрастился к курению опиума и теперь сильно болел. Наконец, он обратил внимание на гостя, и поманив его пальцем поближе, сказал:

— Ты уже взрослый мужчина. Старшина Ян Чэнь приставал к твоей матери и она отравилась. Отец хотел донести русской полиции. Община хранит свои тайны. Не хмурься. Твой отец умер легко. Его напоили теплым ханшином и положили в яму вверх лицом. Только начали засыпать землей, он и отдал богу душу. Теперь он где-нибудь на полянке скачет зеленым кузнечиком или кружит коршуном высоко в небе… Не сверкай так глазами! Что тебе душить меня? Я и так скоро умру. Как сказал поэт Ли Бо: " В облаке вижу я платье твое…" Хорошо сказано. Подумай об этом…А отец твой перед смертью почти не мучился. Ведь иногда у нас зарывают преступника в срубе из дерева, он сам отравляет свой воздух, и умирает очень-очень медленно. Это гораздо хуже…

Ван Дзин сшил в ателье настоящий европейский костюм-тройку и женился на посудомойщице Дарье Васильевне, скромной девушке, родители которой скончались от тифа.

Жизнь семейного повара пошла еще лучше. Ведь это же большое дело —семейный очаг! Русская жена как бы привязывала Ивана Семеновича к земле России навсегда. Сначала у них родилась дочь Надежда, а потом —Евдокия. Ван Дзины получили более просторную квартирку, обставлялись.

Потом пришло время, когда в городе стали арестовывать людей. Любая нерусская фамилия вызывала двойное подозрение. Но Ван Дзин был добро совестный человек, член профсоюза. Когда вечером в его квартиру вошли двое в форме, он подумал, что это какая-то ошибка.

На допросе он объяснял молодому военному всю нелепость обвинений, но тот приказал ему молчать. В котле со щами нашли посудное полотенце. Доказать, что оно заражено бактериями —дважды два —четыре. Ван Дзин, конечно, самый настоящий китайский диверсант!

Ван ночью думал в камере: как могло попасть в суп посудное полотенце? Да, была у него помощница, сварливая женщина. Он всегда своим помощникам говорил:

—Здесь кушайте, сколько хотите, но не надо класть в сумки. Рабочий должен есть наваристый суп.

О! Такие слова не всем нравились. А эта жадная женщина возненавидела его. Как всё это объяснить следователю? Должна же быть справедливость? Какой Ван Дзин —китаец? У него даже жена русская.

На одном из последних допросов военный ему сказал:

— Молчал бы ты, ходя, да подписывал бы все побыстрее. Тут русских ставят к стенке почем зря.

* * *

В избушку, где жили Фекла Касьяновна и Аполлон Северьянович, я заходил часто. Северьянович иногда позволял мне полистать переплетенные им самолично, и окрашенные по обложкам, тома журналов "Нива" и "Север". Обложки он выпилил из фанеры. Всё было солидно, прочно, а главное -в журналах было много удивительных иллюстраций, они как бы раздвигали избушку до границ всего мира!

Северьянович был белильщиком. Утром он уходил на работу, положив на плечо палки, с привязанными к ним под углом кистями. В другой руке он держал ведро с известью.

Приветствуя соседей, ставил ведро на землю, и поднимал руку ко лбу. Привычка эта осталась у него с крепостных времен, когда он сдергивал перед барином картуз. Барин же дал ему имя бога красоты, хотя Северьяныч имел нос картошкой и был рябым.

Он очень сочувствовал всем униженным и обездоленным, потому и приютил в своей конурке за флигелем бездомную семью Ван Дзинов.

Дарья Васильевна, синеглазая, с лучиками преждевременных морщин у глаз, горбилась весь день, сидя за швейной машинкой. В избушке Северьяновича было темновато, зрение у портнихи быстро портилось, но надо было кормить двоих дочерей. Надежда и Евдокия были похожи на татарочек, но по метрикам были записаны китаянками. Евдокия была чуть старше меня, а Надежда лет на пять опережала.

Надежда подрастала, мечтая о том, как будет вступать в пионеры. Её сделают барабанщицей, ведь она умеет выбивать разные ритмы на барабанчике, который купила ей заботливая мама.

В пионеры Надежду не приняли, как позднее не приняли и в Комсомол.

В те годы граммофоны и патефоны во многих квартирах наяривали песню:

Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца —пламенный мотор…

Тогда в газетах помещали портреты летчиков. За Томью с травяного аэродрома иногда взлетали маленькие самолеты. Если случалось самолету пролететь над городом, восторгу жителей не было конца. А в День авиации 18 августа самолет обязательно кружил над Томском, сбрасывая листовки с приглашением на праздник. За рекой устраивали катание на самолетах всех желающих.

В городе на стадионах парашютные вышки приглашали каждого томича совершить свой прыжок.

Надежда пошла записываться в аэроклуб, спортивный дядька вернул ей документы со словами:

— Как же мы вас в ароклуб запишем? Вы летать научитесь, да и угоните самолет в Китай.

Невежливая Надежда сказала:

— Твою мать! Я еще того самолета не видела, а ты меня в Китай посылаешь. Смотри, сам не улети куда-нибудь. А мне и здесь хорошо, я здесь родилась!

Младшая сестра её, Евдокия, примерила все Надеждины мытарства на себя, и росла суровой, нелюдимой. Она иногда играла со мной, но смотрела все- таки искоса, похоже было, что не совсем доверяла, в любой шутке ей мерещился подвох.

Прошло много лет, я уезжал из Томска, возвращался. В нашей усадьбе жили иные люди. Избушка за флигелем развалилась от старости, истлела.

Китайцы как-то исчезли из Томска все до одного. Говорят, те, кого не успели упрятать в тюрьму, поспешили уехать в Среднюю Азию, где они не так выделялись бы среди остального населения. Нынче о то, что Томске когда-то жили китайцы, напоминают лишь остатки выродившейся конопли за Аптекарским мостом и на Заливной.

Встретил я как-то в городе Евдокию. У неё —куча детей и внуков. Некоторые из них русые, славянолицые, у иных в глазах проглядывает раскосинка.

Евдокия пошла по стопам отца и стала поварихой. Между просим, сначала тоже долго работала простой судомойкой. Вот она, преемственность! Надежда была портнихой, недавно вышла на пенсию и теперь продает георгины на Дзержинке. И у неё есть потомки.

Возможно, именно в потомках наше счастье, Видимо, об этом возвещал иероглиф Фу, начертанный на полоске красной бумаги.

ПЕПЕЛ ИВАНА

Каждую весну напротив нашего дома грохотала вода в канаве, падая с многочисленных уступов маленькими Ниагарами.

Шум воды, вешняя грязь на дороге звали бежать куда-то, кричать.

Мусор валили в канаву. Постепенно напор воды в канаве ослабевал, она подсыхала, и мы находили на дне принесенные ею ценные предметы. Были там обломки пупсов, жестяные баночки от крема, копейки, последние нам были очень кстати, ибо мы на подсыхающей глине утаптывали площадки для игры в "чику".

Вода в эти дни шла в Ушайке поверх льда, только кое-где торчали горбы навозных куч. Теперь с нашей Тверской на Петровскую улицу не перейти.

Дюдя и Гаврош укладывали на навозные холмики свои доски, выстраивая переход до противоположного берега. К переходу подходит тетка, доску ногой пробует и все повторяет:

— Восподи, страх-то какой!

И вдруг она быстро сиганула по доскам. Гаврош стоял на противоположном берегу, а на нашем берегу, на предпоследней куче, тетку встретил Дюдя:

— Пятак давай!

И сдернул крайнюю доску к себе, на берег, она едва в воду не свалилась, кое-как назад попятилась.

Потом на том берегу возник здоровенный чалдон. По его решительному виду было ясно, что платить он не будет и обратно поворачивать -тоже. Он оттолкнул Гавроша, побежал дальше.

— Пятак уходит! — засигналил Гаврош старшому. Тот сдернул крайнюю доску.

Почти добежавший до противоположного берега дядька встал перед потоком, в котором крутилась прошлогодняя солома, повернул обратно, а Гаврош тем временем убрал доски на своем берегу. Бородач оказался отрезанным с обеих сторон. Пометался он, и, делать нечего, кинул пятак.

А потом к переправе с той стороны подошел мой дядя. Его еще не знали, ведь дядя Петя только что прибыл из дальних странствий.

— Гони, мужик, пятака! -крикнул Дюба.

— Я тебе не мужик, а Петя Козырь,— ответил дядя, кинулся к доске и вцепился в неё, Дюба тянул её к себе, перебирая руками.

Дядя добрался до противника, они схватились по пояс в ледяной воде. Течение сносило их к промоине, они молотили друг друга, и ничего не замечали. Дядя успел окунуть Дюдю раз пять раз с головой. Внезапно дядя дико взвизгнул. Выпустил Дюдю и, где вплавь, где вприпрыжку, направился к берегу. Палец у дяди сильно кровил.

Дома мать сказала, чтобы дядя прижег палец одеколоном, но он сказал, что лучше примет одеколон внутрь, чтобы весь организм продезинфицировался.

Дядя редко бывал дома, говорят, что он играл на Черемошниках в карты, и имел две клички: Козырь и Петька Цыган.

Во Владивостоке он был ночным пловцом, доставлявшим брошенные в море с иностранных кораблей банки со спиртом. На пловце даже трусов не было, только пояс, к которому он цеплял банки.

НаТверской весь женский пол от шестнадцати до сорока лет был очарован моим дядей.

Фигура его была подтянутая, тугая, пружинистая. Дяде впору приходились все старые отцовские костюмы. Дядя гордился своим загаром и умел шевелить кадыком. Еще он любил повторять загадочную фразу о том. Что "пепел Ивана стучит в его сердце".

Гораздо понятнее мне было сообщение дяди о том, что он женится на вдове охотника.

Вскоре сыграли свадьбу. Новая моя тетушка жила на улице Кирпичной в доме с мезонином. Раньше я мезонины видел только снаружи, а внутри не бывал.

К потолку с первого этажа вела винтовая железная лестница, в потолке была дыра, с крышкой, как у подполья.

Открываете люк, залазите в мезонин, закрываетесь на задвижку и никто туда попадет.

Первый муж у Евдокии был охотником, он умел делать очень хорошие чучела. Вцепившись когтями в толстые кедровые ветки, сидели коршуны, совы, все -как живые.

Были там чучела глухаря, тетеревов, рябчиков, зайцев, лисиц. На стенах развешены ружья, манки, рожки. На полу были расстелены шкуры. Чучело медведя раскинуло лапы, лапы, словно для объятий.

Дядя Петя дернул медведя за хвост:

— Охотник, поди, весь этот хлам на толкучке скупал!

Евдокия приложила платочек к глазам.

Мне больше всего понравилась вешалка в прихожей: огромные оленьи рога. Дядя Петя сказал:

— Такие рога она первому мужу делала.

Я стал просить тетю Евдокию, чтобы она нам тоже сделала рога, хотя бы и не такие ветвистые, попроще. Но мать дернула меня за ухо, а дяде сказала:

— Ты, братец, если женился, так живи, как человек!

Понимал я, что дядя Петя с тетей Евдокией немножко ссорятся, но я считал: зачем привередничать? В доме столько всего!

Раз мы к дяде в гости пришли, а он на крыше сидит, голый совсем, лишь газетой прикрывается. Хорошо, что газета была центральная, большая. Он нам кричит:

— Лестницу где-нибудь найдите поскорее!

Мать отвечает:

— Вот странное дело, мы тут ни с кем не знакомы, у кого мы ее будем просить? Вылезь из мезонина через люк.

— Умница! похвалил ее дядя Петя, давно бы вылез, она стреляет! Второй день в мезонине сижу, маковой росинки во рту не было.

Отец с матерью хотели в дом зайти, узнать в чем дело. Дверь открыли, а Евдокия на табурете в кухне сидит, двуствольное английское ружье на дядю наставила.

— Убирайтесь! Вам не удастся выручить этого проходимца!

—Я так и знала, что с этим прохвостом в какую-нибудь историю влипнешь! — рассердилась мама,— и эта шизофреничка тоже хороша!

Я стал спрашивать, что такое шизофреничка, но мать, как клещами вцепилась в мою руку, потянула.

Увидев наш отход, дядя заорал:

— Эй, куда?! Лестницу мне!

Отец обратился к соседям, сказали, что лестницу дать никак не могут, мол, дядя Петя Евдокии что-то должен и пусть она сама с ним разбирается.

Потом отец нашел где-то жердь и приставил ее к мезонину, дядя по этой дубине и спустился. Евдокия выскочила на крыльцо, да сразу из двух жахнула.

Мы бросились бежать. Вскоре нас нагнали отец с дядей Петей. Мать посмотрела назад:

— Фу, срамец! Коля дай ему пиджак, наготу прикрыть.

Дядя сделал что-то вроде фартука, и мы побежали дальше. Мать все поторапливала, мол, не дай бог Евдокия догонит. Дядя Петя успокаивал ее:

— Не догонит. Пока она ружье перезарядит, мы, знаешь, где будем?! Мать сердилась:

— Молчал бы. Рискуй из-за тебя жизнью.

Дома был скандал.

Целыми днями мой красивый дядя валялся на полу, на половике, заложив руки за голову, то спал, а то размышлял о чем-то.

Однажды он пришел пьяный и сказал, что выиграл на Черемошке много денег, вот отдадут ему долг, и будет он давать нам на еду. Мать обрадовалась, теперь перестанет отцовский костюм трепать, да и туфли тоже. Туфель не жалко, но в центре гравий насыпан, мостовые шершавые, подошвы, как на огне горят.

Прошло две недели, а дядя костюмов не покупает, на продукты ни копейки не дает и вообще про деньги молчит. Мать его спрашивает:

— Тебе деньги отдали?

— Мелких нет, разменять нечем.

И отцовы туфли из шкафа достал. Мать в них вцепилась:

— Свои надо иметь!

Поняв, что в этот раз она может туфли не дать, дядя назвал ее заграничным именем Мэри, и попросил подождать, скоро за всё рассчитается.

Он вышел, а мать -за ним следом. Я из калитки смотрел, как она его выслеживала. Несколько шагов сделает, к стене прижмется, за столбом постоит и дальше.

Мать думала, что дядя Петя отправился в ресторан выигрыш пропивать, а он пошел в Испр.

В этом доме беспризорники и правонарушители живут. Оказывается, он там несколько раз выступал с фокусами и познакомился не только со всеми воспитанниками, но и с директором.

Вошел он в ворота, мать за дерево и наблюдает. У главного входа стояло что-то, накрытое белым покрывалом, а вокруг стояли дети и взрослые. Дядя Петя взошел на верхнюю ступеньку крыльца вместе с директором и художником Пинегиным.

Директор сказал, что ихнему коллективу Петр Иванович Карунин дарит бюст знаменитого писателя Дюма, а изготовил этот бюст по заказу товарища Карунина известнейший художник.

Дядя добавил:

— Дети! Знайте, что это бюст писателя теля Дюма-отца.

Потом он спросил художника:

— Витя, это, правда, отец? А то мне сына даром не надо, я отца заказывал…

Вечером мать устроила дяде головомойку. Деньгами швыряется, а носит чужие костюмы.

Дядя нахмурился:

— У меня теперь кризис. А, бывало, я деньги нищим в форточку пачками кидал.

— Вот и привез бы нам пачечку, а то на дармовщину питаешься…

— Когда я от вас уйду, вы вспомните меня с нежностью!

И он действительно скоро опять нас ушел.

Познакомился он в ресторане номер один, который потом стал называться рестораном "Север" с официанткой. Естественно, что ресторан этот был самым лучшим в городе, а Эльвира Танкалевич была лучшей официанткой " Севера".

Муж, командир, погиб на войне с белофиннами. И Эльвира на мужчин даже смотреть не хотела. Дядя Петя стал присаживаться в ресторане только за ее столик. Он перед ней притворялся немым. Покажет на пальцах: принесите то-то. И всё.

Такой грустный сделается, хоть плач и рыдай вместе с ним.

Она сует руку в кармашек накрахмаленного фартучка, дядя придерживает ее руку, дескать, никакой сдачи не надо, за кого вы меня принимаете? Потупив взор, раскланивается, загорелая шея, лицо торжественно печальное.

Через десять дней он написал на салфетке, дескать, попросил бы разрешения проводить Танкалевич, да стесняется, вдруг ей с инвалидом идти будет неприятно.

Стали они дружить: дядя ей на салфетках о любви пишет, на пальцах кое-что показывает. Вскоре он у нее и поселился и еще с неделю немого изображал.

А однажды утром, как закричал:

— Вставай, лентяйка! Хватит клопов давить! Готовь мужу завтрак!

Танкалевич чуть сама не онемела, обморок у нее получился. Потом рассказывала и хохотала, вот, мол, какой Петя у меня шутник!

А он в ресторане сидит, двойные бифштексы и тройные ромштексы кушает и коньяком с шампанским запивает. Играл он там, на бильярде, выигрывал, или с криком "неправильно!" лез в драку.

А однажды решил кием вместо шара партнера в лузу забить

Милиция перекрыла все выходы из ресторана, дядю везде искали и не нашли, хотя знали, что из ресторана он не выходил.

А дядя в это время лежал в холле на мягком диване, а на нем сидели четыре самых толстых работницы кухни. Отдыхали вроде бы, папиросы курили.

В холле статуя медведя стоит, вытягивает он вперед лапы с подносом, а на подносе графин и рюмочки. Думали, что дядя в медвежью шкуру залез, один даже ткнул медведя наганом в живот.

А женщины вдавили моего бедного дядю в диванное нутро. Дядя после так выразился:

— Женственно-мягкий диван!

Вскоре дядя заявил официантке своей, что в целях конспирации он надолго исчезнет из города, а куда поедет и на какой срок не сказал.

Танкалевич просила наших разузнать о нем, но он как в воду канул.

В один морозный день постучал к нам в дверь чалдон в огромном тулупе, в собачьих верхонках, и спросил:

— Матрена Ивановна не здесь ли проживает?

Дверь как раз мать открывала, она и сказала, да, мол, это я и есть.

—Здравствуй, сватьюшка, милая! Привет тебе от Петечки и от Клани.

С этими словами начал он таскать по лестнице в наши сени мешки и бидоны.

Матери все это не понравилось, но не могла же она на ночь глядя выгнать человека, возможно, и переночевать негде.

Напоила она дяди Петиного тестя чаем, уложила спать. Утром она все же сказала, что подарков не возьмет. Братца она знает. Чалдон все же оставил мед и окорока, он сказал на прощание:

— Буду я всё взад-вперед возить.

Он и вида не подал, что расстроен. Сказал он еще, что распродаст мясо на базаре и купит зятю новый костюм. Зять Петечка — зоотехник, как без костюма?

— Ага,— сказала мать, он зоотехник по биллиарду.

— Как оно там по-ученому мы не знаем, ответил чалдон, но Петя говорил, что в Нарыме будет начальником....

Потом прибыл еще посланец далекой нарымской деревни. Он тоже спросил мою маму и передал ей письмо от дяди Пети.

В письме было много непонятного. Дядя Петя сообщал, что живёт там, где были в ссылке другие великие люди. Теперь дядя решил уехать на юг. Он просил не вспоминать его лихом, если с ним что-либо случится.

Мать ожидала различных неприятностей: могли нагрянуть с претензиями новые родственники из Нарыма. Но дни шли, а никаких следов пребывания дяди на севере не было.

Только через три месяца появился дядя в Томске, еще более загорелый, чем был, в узбекском халате, вышитой тюбетейке и в мягких красных сапогах. Он ходил в этом наряде по проспекту и шокировал томичей, особенно — томичек.

Дома дядя рассказал, сколько пришлось ему пережить в южных странах. Его там никто не встречал, более того, милиция через сутки деликатно намекнула ему, чтобы он по-хорошему удалился с ташкентского вокзала.

Даже в Ташкенте тогда было прохладно, а дядя ночевал, где придется: на скамейках в скверах, а то и просто под заборами. Деньги у него кончились. Питался он гнилым компотом, который ему подарил один узбек.

У дяди началась дизентерия, и его положили в инфекционную больницу. Там его мучили уколами. Зато в этой больнице познакомился он с женой директора ипподрома. Он рассказал ей жалобную историю о том, что в далекой Сибири вся его семья погибла во время наводнения.

Мария Ивановна прониклась сочувствием к красивому бедному юноше.

Директор ипподрома был узбеком, и звали его Икрамом Курбановичем. Он устроил дядю конюхом, так как дядя Петя, конечно, не скрыл, что является потомков донских казаков.

Ипподромные конюхи сразу заметили, что дядя с трудом представляет, с какой стороны следует подходить к скаковой лошади.

Насмешки эти он пережил бы, но случилось несчастье. Однажды директор застал Петра Ивановича в постели с Марией Ивановной.

Изгнанный из директорского дома, дядя стал в цирке ухаживать за верблюдами. Работа эта была не из легких. Горбатые привередники иногда лягали и оплевывали его. Циркачи узнали, что он хочет возвратиться в Сибирь, в город Томск, и дали ему поручение: подготовить гастроли узбекского цирка в этом городе. Он расклеивал афиши и был сам великолепной рекламой.

Он подарил отцу шелковую настоящую чалму. Отец, когда напивался, наматывал эту чалму на голову, садился в углу, согнув ноги калачом, и пытался петь узбекские песни.

Дядя Петя рассказывал, что одна гимнастка-узбечка влюблена в него. Он сам хотел раз пройти по канату, но с непривычки свалился. Но вот приедет узбекский цирк, тогда уж дядя свое возьмет, мы еще увидим его фамилию в афишах!

Однажды, когда дяди не было дома, к нам пришла необычайно курносая тетка.

— Здесь живёт Петр Иванович Карунин?

Мать почуяла недоброе и ответила, что он здесь не живет.

Женщина сдернула с вешалки подаренную дядей Петей шаль и завопила:

— Халда! Аферистка! Не живет! А у самой на вешалке моя шаль висит!

Это была жена директора. Мать тут же отдала ей шаль и чалму в придачу, вытолкала в шею.

— Одними шалями не отделаетесь! — кричала на крыльце южанка Мария Ивановна. — Он у меня семь узлов навязал!..

После милиционеры сделали у нас обыск, но видимо, остальные узлы оставил он в другом месте.

Мария Ивановна уехала обратно в Ташкент, никто нас больше не беспокоил.

Когда Петр Иванович пришел домой, мать обозвала его бандитом. Сказала, чтоб не смел больше у нас появляться, рассказала о визите южанки.

Дядя ничуть не смутился:

— Какие узлы? Ведь у узбеков одни ковры, куда я с ними? Больно надо таскаться! И вообще, я не вор, а артист... пусть в душе, но артист.

— Вот иди и выступай где-нибудь в другом месте, сказала мать, а у нас ты ни одного дня больше жить не будешь.

Дядя сказал, что его с радостью пустит любой нормальный человек. И удалился.

С тех пор он заходил к нам лишь изредка. Но свои короткие визиты использовал максимально.

Он одновременно дружил с тремя нашими соседками: Леночкой Зиновьевой, Ритой Потапочкиной и Надей Ван Дзин. Они как-то делили его между собой.

Этому удивлялись соседи и мои родители, а я думал, что это вполне естественно, я тоже дружил одновременно с четырьмя девочками, нам было весело вместе.

Таисия Есманская, хотя и была молодой для дяди, все же строила ему глазки. Спросил об этом Таисию, и она сказала возмущенно:

— Больно он мне нужен!

Я подумал, что и она дяде абсолютно не нужна. Подслеповатая, в очках, тощая, костлявая, вечно она сидела за столом с чертежами. Однажды Никитична поманила меня пальцем на кухню и шепнула:

— Хочешь, фокус покажу?

Я обрадовался. Правда, от Никитичны сильно пахло спиртным, но это как раз и убедило меня в том, что Никитична сегодня добрая, хочет со мной поиграть.

Никитична взяла буханку хлеба и нож:

— Обычно хлеб отрезают вот так? Да? А я твоего дядю буду резать вот так! — она с силой вонзила нож в булку. И вот так!..

Я плохо спал той ночью, мне снился нехороший фокус соседки. Я чувствовал: что-то за этим кроется, но что?

Я уж стал забывать инцидент, но явился к нам в гости дядя и на кухне его встретил с Есманский с финкой в руке:

— Убью мазурика!

— Закрой рот, а то пыль на пищевод садится! — ответил дядя, и ловко выбил из рук его финку, подобрал её, и сказал, что может зарезать Фаддевича его же финкой.

— Меня понесут, как пролетария,— сказал Есманский,— а тебя зароют, как собаку.

— Я люмпен-пролетарий и соответственно будет эскорт! — сообщил дядя.

Это почему-то соседа успокоило, и он ушел.

В следующий выходной дядя вновь пришел к нам, а отца с матерью не было, в кино ушли.

— Ладно, сказал он, — полежу тут на коврике, вздремну, чтоб жирок завязался.

Я сидел за столом и раскрашивал акварелью картинки в книжке. На цыпочках в комнату бесшумно вошла Таисия, в руке она держала пузырек. Посмотрев на меня, она приложила палец к губам, потом шепнула:

— Тихо! Сейчас мы над дядей подшутим!

Она подкралась к мирно посапывающему дяде, тронула его ногой:

— Петя!

Дядя приоткрыл глаза, и она плеснула из флакона.

Он взревел:

— Глаза выжгла, где она, сука!

Настиг он ее лишь на лестнице, дал пощечину, но больше бить не стал, а побежал к умывальнику. Таисия пыталась отравиться, но выпила лишь глоток сильно разведенного уксуса.

После этих событий дядя не хотел встречаться с Есманскими. Он влезал на крышку сарая, а с неё -в наше окно. Еще на крыше, он снимал туфли, прыгал в комнату и стоял элегантный такой, с туфлями в руках.

Мать его называла Альфонсом.

— Есть писатель такой — Альфонс Доде, если ты сравниваешь меня с ним, то мне это лестно.

— Наступит старость, тогда горько пожалеешь обо всем. Приносишь людям горе!

Мне старость не грозит. Какие тут блатяки живут, а все передо мной шляпы снимают. Дюдя... головорез, а посмотрю ему в переносицу, взгляда не выдерживает. Передо мной воры в законе дрожат. И я интеллигент. Кандидаты наук мне в рот смотрят, когда я развиваю космогонические идеи.

— Да, очень умный! язвительно прервала его мать, вот только сам себя не прокормишь.

Мне это не надо. Ты посмотри, скольких кормит твой муж. Финагенты, заведующие, директора. А выше? Целая пирамида! Я не хочу никого кормить! Они надо мной не потому, что умнее, а потому что подлее. Все, что отец нажил прахом пошло. Я бы, может, теперь уж профессором был. А пепел отца стучит в мое сердце.

— Что? Мог бы и теперь учиться? Ага! Это ты можешь учиться, фамилию сменила. А я жил бы на месте, так меня, может, давно бы упрятали. Вот и мечусь от Владивостока до Ташкента.

— Да уж ты всегда оправдание найдешь.

А вечером того же дня в подвале нашего дома у Зиновьевых была гулянка.

Зиновьевы жили бедно, хотя глава семьи был завхозом. Жена его была уборщицей, а дома держали на кухне кур и боровка откармливали.

Я играл с их младшей дочкой, Веркой, а Лена Зиновьева и дядя Петя встречали гостей.

Первой явилась Маргарита Потапочкина. Было на что посмотреть. У нее брюки были сделаны в виде платья. И веер на цепочке с пояса свисает. Брат ее Жоржик, вообще-то его Георгием родители назвали, свою трубу принёс, музыкант! Надя Ван Дзин ярко накрасила губы, белый цветок в черные волосы воткнула. Вошла и поцеловала дядю в губы.

Чуть позже явился Сися, а пальцы у него на левой руке гораздо длиннее, чем на другой. Никто ведь не ожидает, что к вам в карман полезут левой рукой. Вот ему с младенчества левую руку бинтовали, чтобы пальцы выросли длинные.

— Кишмиш есть? Прикумарить хочется.

Дядя подмигнул Сисе:

— Ты меня знаешь, у меня с китайцами лад. Всех марух и мандеров обеспечу. Был бы слам...

Ох, дядя! На любых языках может говорить! И всех понимает.

Запахло жженой тряпкой, странные самокрутки курят и парни, и девчата. А нам дали орехов, Сися даже подарил шоколадку в золотой обертке. Мы счастливы.

А они сели в карты играть. Тишина перемежалась возгласами, иногда поднимался галдеж. Умаявшись, мы с Веркой легли на кухне на кровать и крепко уснули.

Утром я проснулся от крика. Дядя стоял у дверей с сечкой в руках:

— Где ржавые бочата, которые я у Сиси выиграл, ночью? Шмон делайте! Давай мое ржавье! Не лезь к двери. Череп снесу!

Все кинулись искать часы. Ленка, поджимая тонкие губы, выволокла часы кочергой из-под буфета:

— Вот они! Закатились как-то, а может, сам туда и засунул.

— Закатились! Я вам не сазан! Пролакшились, так не темните!

Дядя гордо надел золотые часы на запястье, где у него уже было пристегнуто ремешками еще двое часов, и удалился.

Через какое-то время он опять исчез надолго из Томска, как это с ним случалось и раньше.

ЧЕТВЕРТОЕ СОБЫТИЕ

Особо запомнились четыре события первого военного лета. В жаркий день появились в небе, заклубились тучи, ударил град величиной с яйцо, а затем пошел снег. Бабка Федоренчиха сказала:

-Будет скоро смертушка всем нам за грехи наши!

-Повесят начальника метеоцентра! За... -не скажу, за что его привяжут,-ответил мой приятель Витька Воротченко, -а мы жить будем долго.

А еще было так. Шли мы с Витькой возле главпочты, а возле клуба "Строитель", там, где теперь гостиница "Сибирь", из-за угла выскочил дядька в гражданском пиджаке, в галифе и кирзачах. За ним гнались два красноармейца с винтовками, стреляли и вопили:

-Ложись!

Витька лег сам и меня толкнул. Дядька подтянулся на заборе, уже ногу на него занес, но хлестнуло пулями в спину, он обмяк, повис на руках и свалился в пыльную траву.

К одиннадцати годам я повидал уже немало всяких смертей. Случалось видеть не раз резню. Но как убивают человека выстрелами из винтовок, я видел впервые.

Третьим событием стало то, что в здании цирка начали показывать фильмы. Раньше летом цирк закрывали на ремонт, чтобы лучше подготовить к зимнему сезону.

Я забеспокоился: разве у нас теперь цирковых представлений больше не будет? Всезнающий Витька пояснил, что начальство с одного здания хочет получить два навара: летом фильмы, зимой цирк.

Мы с Витькой сходили на фильм "Сокровища погибших кораблей о славных эпроновцах. Экран в цирке был большой, такого раньше у нас ни в одном кинотеатре не было, это отчасти примирило меня с вторжением киношников в здание цирка, хотя наспех сколоченная кинобудка, смотрелась, как оскорбление гармонии. Не будка, а барак какой-то.

Четвертое событие произошло в жаркий июльский день, когда я пошел смотреть "Сорочинскую ярмарку". Я думал о том, как совпадет киноверсия с тем, что я сам себе представлял, читая и перечитывая в разные годы удивительное произведение Гоголя.

Я был в тот день гадом. У Витьки не было денег, а я не зашел за ним, ибо тогда бы моих денег не хватило бы на книжку про Карацюпу. Я вообще-то колебался, но Карацюпа победил.

И вот куплена книжка в Когизе, куплен билет в цирковой кассе, а до сеанса еще целый час. Казалось бы, что такое Карацюпа, если прочитаны уже и Гоголь, и Сервантес? Но хотелось и чего-то близкого к нашей жизни. Отец звонил из Новосибирска, он там проходили краткосрочные военные курсы, после чего должен был отправиться на фронт.

В березовой роще, стоявшей тогда возле городского театра, присел я на лавку и погрузился в тревожную приграничную жизнь. Граница. Но что это за крики на Ленинской? Березки загораживали от меня улицу, но я видел, что мелькают на тротуаре ноги бегущих людей. Куда спешат? И что за тучи в небе так быстро несутся? Да не тучи дым! Я сунул книжку за пазуху и побежал на крик. И глазам не поверил:

горел цирк! Как же так? Ведь вот же билет в кармане!

Цирк горит, языки пламени вырываются из окон, из вестибюля и никто не тушит. Ах, как хотелось, чтобы это было неправдой! Ведь это что же? Не только пропал сеанс, но, возможно, всё пропало!

По широкому деревянному мосту быстро пробежали курсанты томского артучилища. Но что они там могут сделать своими саперными лопатками? Вот некоторые пробрались в здание. Вот из окон гостиницы, где жили когда-то волшебники манежа, посыпали у стекла, полетели стулья, тумбочки, графины даже. Разобьется же все! Память горела. Счастливые картины моего детства.

Курсанты выскакивали, кашляя и чихая, бросались в воду реки. Милиция не пускала никого к горящему зданию.

Неподалеку от Ушайки на самом берегу в то лето сляпали из фанеры приземистое, длинное строение. Были там с Витькой, видели горе-фокусы.

Дама подсадка дурным голосом кричала: "Ко-ко-ко" и маг подходил к ней, извлекал из ее ридикюля куриное яйцо. "Ага! Уже три яйца! -кричал он с деланным восторгом, - можно поджарить яичницу!"

А еще брал он у зрителя часы, толок их в ступе, а потом возвращал испуганному зрителю эти часы целехонькими.

Магия не помогла. Фанера с надписью "Иллюзион" корчилась в огненных судорогах. Сквозь милицейский заслон прорвался с отчаянным воплем кучерявый смуглый человек маг тот самый. Сбил с дверей амбарный замок, исчез в двери

Вновь появился он, корчась от несусветного жара, теряя на ходу толстые пачки денег. Он упал замертво, не добежав и до Ушайки, навсегда поколебав в моей душе и без того не очень стойкую веру в цирковых факиров, а верить, хотелось, как в раннем детстве!

Пожар разгорался. Низ здания был кирпичным, кирпич этот брали, разрушая кафедральный собор, с тем, чтобы заменить бога иными кудесниками. Купол же цирка был выполнен сплошь из дерева. Еще бы! Наш город стоит среди тайги.

Соорудив деревянные ребра купола, их обшили несколькими слоями пропитанной олифой фанеры, и жирно окрасили. Насколько это дешевле железа, экономия какая!

От жара фанерные листы сворачивались в трубки, вспыхивая, летели аж за мост. Собравшаяся на противоположном берегу от Ушайки толпа ревела. Внезапный ветер занес несколько таких зажигательных снарядов даже на крышу второвского пассажа.

Приехавшие наконец-то пожарные, поливали крышу швейфабрики в других окрестных зданий. Купол, ложи, вся деревянная обшивка и начинка цирка, пропитанные лаком и краской, дали такой мощный выброс огня, что цирк спасти уж и не пытались, даже у второвского пассажа на другом берегу реки стоять было невозможно от жары.

На куполе цирка в сезон по вечерам обычно светилась лампочками фигура гимнаста на трапеции. Он был сварен из металлических труб. И вот цирк пылал, а "гимнаст" этот по-прежнему венчал купол, словно никак не хотел сдаваться.

В последние годы он стал для томичей таким же гордым символом, как для Парижа Эйфелева башня и, кажется, вполне понимал свое значение.

Но в какой-то момент купол с грохотом провалился и "гимнаст" исчез, как последняя надежда.

Я простоял возле цирка до самого вечера. Кирпичный низ здания был закопчен, но цел, пустые оконные проемы в потеках воды и грязи, дым щиплет глаза, а я думаю: здесь была конюшня, и стояли в ней знаменитые ученые лошади Александрова Сержа, и каждый мог купить на пятак морковки и угостить этих замечательных лошадей.

Только берейтор предупреждал, что нельзя в конюшне громко кричать, что лошади эти артисты потому у них тонкие нервы.

А там, где теперь были лишь горы догорающих головешек и золы, располагались арена и оркестровая ложа, в которой играл какое-то время духовой оркестр НКВД под управлением Нейзлера.

Мы уже привыкли к тому, что номера идут под духовую музыку, когда в один из сезонов в цирке вдруг появился эстрадный ансамбль дирижера Верховского. Многим не понравилось, бравурности не хватало, что ли.

Но Верховский выбирал самые модные, красивые мелодии, они незаметно переходили одна в другую и задавали темп представления. В день пожара мне было одиннадцать взрослый:

Но и в семь лет я был готов к встрече с цирком. Дома не раз рассматривал портреты борцов в альбоме. Многие снимки отец делал собственноручно.

Звучали термины: двойной Нельсон! Отец пропускал у меня под мышками руки и захватывал ладонями голову. Вот! Нельсон!

Дядя Костя тогда устроился в цирк пожарником. Доставал контрамарки. Перед очередным представлением дядя и отец устраивали дома борьбу-гадание.

Картонным фигуркам борцов на спинах делали надписи, схватывали фигурки нитяным колечком. Ставили фигурки на газету, надо было потихоньку двигать газету по столу. Какая фигурка окажется сверху?

Случалось, что после результат борьбы-гадания точно повторялся на арене. Восторгам нашим не было конца.

Помнится, выступал тогда у нас некий "мастер смеха". Он ничего не делал, только смеялся на разные голоса, и постепенно вместе с ним начинали смеяться все находившиеся в цирке люди. Смех катился по рядам лавинами

Начинали смеяться даже билетеры и униформисты. Смеялись люди до икоты, до истерики. А многие из хохотавших уже были включены в списки будущих арестантов и некоторые даже догадывались об этом. И хохотали, хохотали.

Но я тогда этого еще не знал, не понимал, я смеялся потому, что это был праздник.

Падали нехотя крупные снежинки. Чтобы скоротать путь, мы пробирались к цирку задворками, тропками по Ушайке. Ориентиром служил сияющий в вечернем небе лампочный гимнаст, и сияла надпись: "Цирк" первое прочитанное мною слово...

Пришел домой. Мать думала, что я сгорел вместе с цирком, не нашла меня в толпе.

-Чего же ругаешься, если тебе меня жалко?-спросил я ее.

-Не тебя жалко, а калош, которые ты уже за свою жизнь износил, -сердито ответила она, неужто зря?

По городу шли слухи, что цирк запалили шпионы, они же позвонили вовсе пожарные команды и сказали, что горит совсем в другом конце города. На деле было не так. В кинобудке -много обрывков пленки, в отличие от нынешней, горючей, как порох. Помощники киномеханика, уходя купаться, плохо загасили окурок. Вот и пошло пластать. А пожарники были где-то в районе пристани, где случился тогда, как на зло, большой пожар.

У города не было сип, чтобы возвести новое цирковое здание. Отцы города попытались пристроить к обгорелому остову несколько кирпичных пеналов, которые можно было бы использовать, как гостиничные номера.

Явились каменщики. Кирпич был плохой, крошился. Дело шло медленно, а война и не думала кончаться. Вскоре затея с гостиницей была заброшена.

Остов цирка с незаконченными пристройками торчал на берегу Томи всю войну. Базарники его использовали, как громадный туалет, в этих обгорелых лабиринтах укрывались от милиции, от облав, воры, спекулянты, аферисты.

Мы, пацаны, прятались там, чтобы спокойно выкурить, купленные штучно у барыги американские сигареты с самолетиком на этикетке. В этих развалинах я плакал не раз от отчаянья, от бессилия.

Каждый, кто мог и хотел приходил к этим развалинам с ломом или кайлом, дабы развалить их еще больше, брали кирпич, выколупывали по одному.

В один прекрасный уже послевоенный день, город нашел в себе силы, чтобы убрать развалины. На их месте разбили чахлый скверик, но не прижился. Еще позже возник там дом томских начальников. Там они сидят, и за всех горожан думают.

Все проходит, но хорошо, что у людей есть память. И я помню наш цирк, и не раз убеждался, что помню его не только я. В Ашхабаде я встретил уже внуков Юрия Дурова, они мне сказали:

-Томский цирк! О!

-А что -о? Вы-то его не видели никогда?

-Мы нет, но дедушка рассказывал. За Уралом один такой удобный цирк и был. И конюшни большие, и гримерные, и гостиница для артистов со столовой, и две реки рядом.

—Томский цирк! О! -говорили мне и в других городах циркачи.

И в чужих городах, в пустыне, в горах, у далеких морей, светил мне сквозь дали электрический гимнаст на трапеции Томского цирка. И многое, многое воскрешал.

ВЕЧЕР БЫЛ, СВЕРКАЛИ ЗВЕЗДЫ...

Зимой 1942 года мы с матерью переехали с верхнего этажа в полуподвал в этом же доме. Скандалы с соседями Есманскими переросли в настоящую войну.

Отец погиб на фронте. И теперь Ксения Никитична каждого пришедшего к нам мужчину воспринимала, как материного ухажера. Было слышно, как она восклицала на кухне:

— Стерва! Не успела еще постель остыть от убиенного супруга, как она... Шлюха! У них вся семья такая...

Если приходили женщины тоже было нехорошо:

— Таскают грязь, а она только ногти полирует...

И это было неправдой. Мать тоже прибиралась и на общей кухне, и в коридоре, и работала на производстве с зари до зари.

Ксения Никитична вообще-то была зла на материного младшего брата Петра Ивановича. Он дружил некоторое время с Таисией дочкой нашей соседки. Потом куда-то уехал. И выяснилось, что Таисия должна родить ребенка. Он и родился, был назван Евгением, писал теперь в пеленки и плакал по ночам. Если Никитична была не в духе, она хватала бедного ребенка и показывала его моей матери с криком:

— Корми его, курва! Братца твоего работа!

Переезжаем в подвал, сказала мне мать, а то я невзначай башку этой дуре прошибу. Ничо, жили же Зиновьевы в этом подвале? Теперь, правда, переехали...

С трудом мы перетаскали с ней в подвал наши вещи: шифоньер, две кровати, сундуки с отцовским инструментом. Были у нас старинные настольные часы: бронзовые амурчики вращали подвешенный на цепочке шарик маятник такой.

В подвале было глуховато. Уже месяца два назад мы отдали нашего пса Маркиза охранять мясокомбинат, кормить пса нам было нечем. Раза два он обрывал цепь и убегал с комбината домой. Вилял хвостом, а мы его ругали и гнали. Потом он привык на новом месте и больше не возвращался.

Мать была заместителем директора промкомбината. Я ходил в школу, дома нас целыми днями не было.

—Что ж, бог милует, -говорила вечером мама. -Просторно, тихо, и кухня не общая. Покой дорого стоит. А то это ведьма меня криком своим в гроб загнала бы, я на работе и так на нервах. А замок на дверь вешать не будем, пусть думают, что кто-то всегда есть дома. Сделаем хитрый секрет.

Она просверлила в наружной двери тонюсенькую дырочку, продела в неё нитку под цвет обшивки, привязала нитку к крючку. Нужно осторожно прикрывать дверь, постепенно опуская крючок, чтобы он попал в петлю. Затем конец нити тщательно маскировался в дверной обшивке.

Одному в подвале тоскливо. Вернувшись из школы, запирался, а с приближением темноты выходил, закрывал окна ставнями. Просовывал в отверстия в стене металлические штыри, а дома закреплял их болтами

Ждал мать. Было из чего, готовил ужин. В двенадцать лет одиночество тяжкое дело.

Однажды возвратился из школы, а входная дверь открыта. Обрадовался, двинулся по коридору в кухню, позвал: “Мама!” Притаилась. Подшутить хочет! Вон же драпировка у входа в зал колышется!

Уже, было, кинулся туда, но что-то меня остановило. Не понимая еще, зачем и почему, повернулся, выскочил из дома, заглянул в окно. Усатый стоял посреди комнаты с узлом, чудно так глядел на меня, другой выкидывал тряпье из нашего сундука, третий стоял возле драпировки с финкой в руке. Вот пошел бы я туда, точно был бы уже заколотым.

Надо что-то делать. Я постучал в окно, выбежал из ограды на улицу. Что толку? Никого взрослых дома нет, никто и не выйдет на подмогу. Гнусные типы из калитки вразвалочку протопали к оврагу, последний обернулся, обнажил желтые фиксы. И скрылся. Ищи ветра...

Все ценное унесли. Мы голодали, но не продали и не обменяли на хлеб или, скажем, жиры ни материны меха и платья, ни отцовы костюмы. И как не было ничего.

Вечно сосало под ложечкой. Пайка хлеба и чай. И все.

Однажды мать принесла домой овсяную лузгу. День вымачивать, день отстаивать, из белого, как молоко, осадка можно варить кисель. Скулы ломит, но с голодухи вкусно кажется, недаром в одной книжке я вычитал о том, что голод лучший кулинар, я сам в этом убедился.

И вот лузга отстоялась, утром еще затемно пошел я ведром по заснеженной улице к речке Ушайке, чтобы набрать воды не только для киселя, но я для мытья полов и стирки. Ведро давно прохудилось, сифонило, приходилось бежать от речки с ведром изо всех сил, чтобы донести хоть сколько-нибудь.

Сливал воду в кадку, но все было мало, бежал еще и еще, а на плите у меня уже кисель варился, я его то и дело пробовал.

Побежал к речке в очередной раз, смотрю люди возле проруби.

Старичок-милиционер спрашивает:

— Кто, что видел, кто что слышал?

Два мужика кое-как вытащили из проруби примерзший ко льду труп. Старуха в одной нижней рубахе, жалкие мощи. Сняли с её головы мешок, череп разрублен топором, а кровь из раны вымыло водой белесость одна.

Никто ничего не видел и не слышал. Только цепочка кровавых пятен да след санных полозьев идет по Петропавловской и сворачивает на Крестьянскую.

Ё-моё! Я из этой проруби воду на кисель брал вместе со старухиной кровью! Я же чувствовал: ведро за что-то в проруби цеплялось.

Прибежал домой, кисель недоварившийся вылил, все равно есть не смогу, воду из бочки тоже вылил. Снова таскать воду придется из другой, из дальней проруби. И голодный. Такое зло взяло!

Недели через две после этого случая сидел я в морозную ночь дома возле коптилки, заправленной бензином с солью. Бензин, даже при наличии в нём соли, иногда взрывался в коптилках, но я хитер:

бензина на донышке только, да и коптилка у меня малюсенькая. Пока весь бензин не выгорел, спешил я дочитать очередной рассказ про

Шерлока Холмса. Да! Джентльмен! Ничего не боится, никогда не теряется.

Вдруг в кухонную дверь забарабанили. Странно я же сам уличную дверь запирал! Как же пришельцы в коридор наш попали? Мать спросонья уже хотела открыть, тем паче, что за дверью сказали:

— Это домком, вы тут незаконно проживаете, у вас ордера нет.

— Не отпирай! -быстро зашептал я, уловив её стремление доказать пришельцам свою правоту, мол, ордер есть и все такое.

— Не отпирай! Не домком это. Подумай первый час ночи, и голос пьяный, и не один он там, топчутся. И уличную дверь вскрыли...

Ситуация была безвыходная до тоски и глупости. Есманские не услышат, да если бы и услышали, не вышли бы так поздно из дома. А за стеной у нас лишь Галька Старикова, девчонка шестнадцати лет.

Дверь поддевали железякой, рвали с петель, матерясь. Хорошо дом купеческий. Двери старые, но толстенные, и петли несъемные. Но сломать, что хочешь можно. Что делать? Как поступил бы Шерлок Холмс?

Мы в ловушке. Сорвут дверь, где прятаться? Открыть в одном окне ставни, чтобы можно было выскочить? Но тогда они к нам через окно влезут. Ну да, вон уже пытаются ставни сломать.

Я зачем-то запихнул в дверную дужку ухват, подтащил к двери сундук, на него взгромоздил стол, мать мне помогала. Затем я схватил печную заслонку и принялся колотить в неё пестом. Мать нашла возле печи топор и крикнула нападавшим:

— У меня ребенок и у меня есть топор, дешево не дамся.

— Прирежем и тебя, и пащенка.

— Я казачка! хоть одного гада, но зарублю, и за меня отомстят! Так и знайте, из под земли вас выкопают!..

Меня била дрожь, я метался по комнатам, гремел заслонкой и матерился, мать до этого случая даже и не подозревала, что я так здорово умею матюгаться. Но что-то я должен был предпринимать? Я ругался для взрослости, пусть слышат, что имеют дело с мужиком.

Снег заскрипел. Уходят? Или обманный маневр, чтобы нас из дома выманить?

Всю ночь мы не сомкнули глаз.

После мать несколько раз побывала в милиции. Однажды сказала:

— Коты это. Следователь его по кличке назвал, а он на следователя кричит, мол, сам ты кот, у тебя вон усищи какие! Не пойман, не вор. И кто ловить будет? В милиции одно старичье. Дали вот отношение к домхозу. Переедем в восемнадцатый номер. Дом там большущий, на втором этаже четыре комнаты и все будут наши.

На двоих четырехкомнатная квартира очень уж по-барски, тем более, что у нас и вещей-то почти не осталось. Взяли с собой из-за стенки соседку нашу, Гальку Старикову.

До войны, бывало, уходя в театр или кино, родители оставляли меня у Стариковых, и Галька играла со мной. Её отец и мать были почему-то стариками, и я ставил в её фамилии ударение на последнем слоге.

Стариковы переехали в Томск из деревни не очень давно. У них в комнатах было сыро, так как Галькина мать брала у соседей белье в стирку. На столе всегда кипел двухведерный самовар, за столом сидели, приехавшие на базар деревенские мужики и бабы и чинно дули в блюдца с чаем.

Спали они обычно на полу “ в елочку”, за ночлег и гостевание давали Галькиной матери сальца, мясца, медку. Но то всё было до войны. В первые же месяцы её умер от туберкулеза Галькин отец. Как у нас в семье говорили, чахотка у него была и раньше, но было питание, лечение, он и скрипел да жил. Не стало деревенских гостинцев, не стало и всяких там таблеток, он и умер.

А еще через полгода скончалась Галькина мать. Туберкулез обнаружился и у нее, к тому же и сердце у нее оказалось больное. Война все обострила и выявила. Она убивала и в тылу. Деревенским в войну в городе выжить было еще труднее.

Оставшись одна, Галька продала и проела самовар, коврик с лебедями, затем стулья, а потом даже и кровать, и фикус с кадкой. И деньги у неё быстро кончились, потому что покупала она на базаре по диким ценам конфеты и пряники, вместо того, чтобы купить картошки и черного хлебца. Спала Галька теперь на печке, укрываясь стареньким своим пальтецом, которое все больше приходило в негодность. Зима почти вся была еще впереди, а у Гальки уже и дрова кончились. Она стала ужасно кашлять, наверняка погибла бы, если бы мы не забрали её с собой.

В новой нашей квартире мать выделила Гальке уютную комнату и устроила её в свой комбинат секретаршей. Галька стала красить губы, навивать локоны нагретыми на печи металлическими щипцами. Волосы у нее были жесткими и темными, а глаза черными с просинью.

Однажды вечером она вошла в мою комнату, худющая, с запавшими сверкающими глазами, дохнула на меня морозной свежестью и самогоном. Провела ладошкой по моим кудрям:

— Ох, Борька! Вырастешь, будут тебя девки любить! Ох, любить будут! она поцеловала меня в губы крепко-крепко.

Я понял, что она пришла с любовного свидания, и надо было ей с кем-то радостью поделиться, а не с кем. Матери моей она не могла про свои амуры даже намекнуть. Какие её лета?

Через недели две мать строго спросила меня: не брал ли я её часы с золотым браслетом? Я пожал плечами. Через неделю еще мать не нашла шифоньере наволочек и пододеяльников.

Потом был у матери Галькой крупный разговор. Мать дверь притворила, но я приставил к ней литровую банку, прислонил к донышку банки ухо и все слышал.

— Балда! Хахаля поишь! Часы мои загнала, белье. Он с тобой, пока ты что-то тащишь, А тащить скоро станет нечего. На что надеешься? Подумай своей безмозглой башкой!..

Через месяц Гальку Старикову посадили. Милиционеры увели её прямо с работы. Галька имела доступ к комбинатовской печати. Она выдавала липовые справки. Одной из справок воспользовался какой-то дезертир.

Незадолго до Нового года одна бывшая арестантка сказала матери, что гальку видели в пересылке. Зеки её обобрали и раздели, и она кашляет кровью.

В канун Рождества я пошел мыться в Громовскую баню. Я уже представлял всю теплоту и ласковость дореволюционных фаянсовых скамеек, их сюда из самой Италии привезли! Толстый такой фаянс, быстро от теплой воды нагревается, и сидеть приятно. Окатишь такую скамью горячей водой и панствуешь. Но возле бани почему-то ходили люди с карабинами. Лаяли сторожевые овчарки. Оказалось, моют зеков.

Вот незадача! Идти в другую баню никак не хотелось, мы в этой моемся, уже в третьем поколении.

Напротив бани на корточках сидели женщины. Я заметил среди них стриженного наголо паренька в рваной хламиде с непокрытой головой. Глаза его воспаленно и пристально смотрели на меня. Чего он? И вдруг я понял: не паренек это! Галька наша!

Побежал я со всех ног домой. Квартал всего.

Мать лежала с повышенной температурой. Сможет ли она встать? Сможет ли как-то помочь Гальке? Мать у меня все же очень волевая и сообразительная, это все говорят. Да что она может сделать? И захочет ли что-то делать?..

Так я размышлял на бегу, а в голове у меня звучала слышанная еще в раннем детстве жалостливая мелодия:

Вечер был, сверкали звезды,
На дворе мороз стоял,
Шел по улице малютка,
Посинел и весь дрожал...
Шла старушка той дорожкой,

Услыхала сироту,
Приютила и согрела
И поесть дала ему.

Мать, узнав о Гальке, вскочила, словно у неё и температуры не было, быстро натянула на себя все теплое, увязала в платок приготовленные к новогодью бутерброды с маргарином, картошку в мундирах, несколько сиротских конфеток подушечек, половину нашего праздничного пирога с рисом и яйцами.

Мы бежали до бани, и я видел, что мать почти задыхается. Я боялся за неё, но она старалась делать вид, что ей совсем не трудно.

Вот и баня. Мать сразу заметила Гальку и двинулась к зечкам, сидевшим на корточках. Дорогу преградил конвоир:

— Назад!

— Держи, Галя! —мать ловко швырнула узелок, и Галька его поймала. Сидевшая рядом с ней мужик-баба заехала Гальке локтем в зубы и вырвала наш гостинец.

— Ах, падлюга! — рванулась к ней мать, —убью!

Конвоир больно ударил мать в грудь прикладом карабина:

— Имею полное право стрелять!

— Чтобы вы все передохли, сволочи! — закричала мать, свирепея, -чтоб вас всех черти жарили в аду на чистейшем собачьем дерьме!..

Мы шли с матерью домой. И был морозный новогодний вечер, и во всю сверкали звезды.

ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА

Я встал в четыре утра, иначе хлеба по карточкам не получишь. Ну, теперь буду первым!

Пришел к магазину, кто-то возле маячит. Ладно! Буду вторым. Мороз. Решил бегать вокруг магазина. За угол свернул и заругался шепотом, там от ветра люди прятались. Не первый и даже не двадцатый, не понять какой. Список был у женщины в трех шалях. Попросил записать. Мама! Сто сорок восьмой!

Дед в тулупе пояснил:

— Иные греться ушли, в пять утра перекличка, кто не явится вычеркнут.

В пять перекличку сделали, и откуда-то мужчина с другим списком явился. Ругань.

— Наш список правильный! Мы его вчера в шесть вечера начали писать!

— Нет наш правильный! Мы писали еще вчера в обед!

Тут хлеб привезли. Мужчина кинулся на крыльцо с бумажкой, в которую вписано было двести человек. Трехшалевая тетка туда же ринулась с нашим списком. Я замешкался, оказался в хвосте:

— Мне на крыльцо надо, я сто сорок восьмой!

В рифму ответили:

— Лезь, если сила есть!

Такая давка началась, что я подумал: пусть буду хоть пятисотым лишь бы живым.

Хлеб кончился в тот самый момент, когда подошла моя очередь. Желудок ныл. Тут сказали, что могут карточки мукой отоварить.

— Во что тебе?

Вот тебе раз! Я за хлебом шел. Во что муку брать? Испугался, что и мука кончится, сдернул с головы ушанку, мол, вешайте в нее.

Взвесили. Горстка муки. Засомневался мало. Мужик один сказал:

— У муки припек бывает...

По дороге обратно муку ел. И было жаль: у той, что съедена припека уже не будет.

Плиту с матерью растопили старым стулом, говоря, что он лишь место занимает. Испекли лепешки, подкладывая под тесто бумагу: жира-то не было. Припек получился, но не такой, как мне хотелось.

Спать я лег на теплую плиту, и она грела почти до утра. А утром у меня в голове мотивчик звучал: “ Все хорошо, прекрасная маркиза!”

Мне вспомнился пёс Маркиз, он теперь охраняет мясокомбинат, каждый день жрет мясные отходы. Втайне я ему завидовал.

Мать меня понимала. Не зря она утром дала мне где-то раздобытые ею талоны в литерную столовую. Я взял с собой Витьку Коротченко. Вдвоем веселее.

В столовой было холодно, но из кухонной амбразуры несло теплым и вкусным паром. Вдруг официантка скажет: “А талончики-то не ваши!” Что тогда? Но она сказала:

На первое суп с крапивой, второе перловка. Могу по желанию принести или два первых, или два вторых...

Решили отовариться четырьмя супами.

Напротив мужик, на голове пилотка, на ногах обмотки, а пальто гражданское. На четыре талона восемь супов получил, достал из внутреннего кармана короткую алюминиевую ложку, отирает полой пальто. Склонился над первой миской: хлюп-хлюп! Ложка так и мелькает, как машина какая, миски одна за другой пустеют, на носу капля пота.

Убиватель супов! шепчет Витька.

Съели и мы с Витькой супы, только аппетит больше разыгрался. Пошли к Витьке домой разложили на плите вымытые очистки, они покрываются аппетитными пупырышками, от них идет вкусный дымок. Но все же этим не наешься. Придет ли такой день, когда мы сможем поесть до отвала? Мы вспомнили американский фильм, который недавно смотрели. Там прекрасная Дина Дурбин пела, очень нам понравилась. Но в конце фильма Дина эта вышла в подвенечном платье кормить лошадь из своей шляпы сахаром. Я теперь ругал ее, на чем свет стоит. А Витька сказал:

— Она голодная не сидела. У них там кругом сахарный тростник, подошел и жуй! Это только у нас сахар на базаре сто рэ стакан...

— Вот бы и прислали нам немного, а то лошадям стравливают!..

Вернулся домой. Ледник. Мать говорит:

— Надо будет опять каких-нибудь квартирантов подыскать, хоть дров купят...

С квартирантами нам не везло. После того, как посадили Гальку Старикову, и она погибла в тюрьме. К нам подселили чекиста. Это был краснолицый деревенский парень, звали его Сашкой Вершининым. На фронт не взяли из за язвы желудка, а внешне выглядел здоровым.

Мы надеялись, что Сашка обеспечит нас дровами, но вышло всё наоборот. Если мы экономили свои дрова, сжигали не более пяти полешек в день, то Сашкина жена, смуглолицая и тощая Наталья, жгла наши дрова в наше отсутствие почем зря. Поленница таяла на глазах.

Вечером мать ругалась с Натальей, а та огрызалась:

— И ничего вы нам не сделаете, мой Сашка кого захочет, того и посадит.

Наталье не нравилось, что мы выделили ей с Сашкой одну комнату, а сами жили в трех остальных. Она считала, что муж её такой большой начальник, что нужно наоборот, нам жить в одной маленькой комнате, а им с Сашкой в трех. Мать же пыталась втолковать ей, что не нас к ней подселили.

Сашка приходил поздно ночью, усталый, быстро что-нибудь проглатывал на кухне и падал в постель. Матери поговорить с ним не удавалось.

Наталья наглела всё больше, Если у себя в колхозе она крутила кровам хвосты, то здесь её, как жену чекиста, сделали комендантом студенческого общежития.

Представляю, сколько нервов испортила она студенткам-медичкам.

Я спал на кухне, у меня была там лежанка, ведь в зиму только возле печи и сохранялось тепло. Наталья выживала меня с кухни:

— Он мешает готовить пищу. Ночью ему все слышно, что у нас в комнате делается, я стесняюсь, разве в трех комнатах ему тесно?

Я возражал:

— Так ведь холодрын же во всех наших комнатах! И вовсе я не слушаю, что у вас делается, я сплю так, что над ухом из нагана стреляй, не проснусь.

—Все равно я стесняюсь! твердила Наталья, поджав губы.

Однажды мать все же переговорила с Сашкой, он прицыкнул на жену, и пообещал привезти дров. Но он их так и не привез: на работе ему и секунды свободного времени не давали, являлся домой лишь для того, чтобы поспать часов пять.

Однажды ночью я открыл ему дверь и заметил, что он возбужден. Спросил, что случилось

— Да вот, понимаешь, на Алтайской трое в темноте маячат. Беру папиросу в левую, а правой в кармане пистолет с предохранителя снял. Известно прикурить просят, один спереди, а двое сзади заходят. Я к забору спиной. Мужик прикуривает, а из рукава нож блестит. Я ему пушку в нос, мол, нож убери, а то черепок слетит. Извинились. Один, вроде бы Дюдя, блатяк местный.

— А ты бы задержал. Мог бы, и пристрелить одного.

— А на хрена? Мне и шпионов с дезертирами хватает. Бандитов пусть милиция ловит. Подстрелить! Потом со следствием разбирайся, правильно подстрелил, неправильно. Начальство коситься будет. Нам своих дел -во! По горло.

— Ах, Сашка! укорил его я, в милиции бабы одни, да старики еще!

— Спать хочу, сказал Сашка, мне бы хоть раз в месяц давали бы сутки отоспаться, совсем другое дело было бы...

Меня тогда подивило ведомственное разграничение. В молодости мы максималисты, кажется, что истина одна, и она абсолютна, а поживешь и понимаешь, что у каждого ведомства истина своя, да и у каждого человека тоже.

Понимаю теперь, что Сашка был неплохим мужиком, мог бы запросто потеснить нас в квартире, но не сделал этого. Вскоре он выхлопотал себе отдельную квартиру, где Наталья могла делать, что угодно и пилить мужа сколько ей угодно.

В результате всех этих событий, среди зимы мы остались и без дров, и без квартирантов.

В середине зимы в восемнадцатый номер переехали и Есманские, поселились в соседнем подъезде и тоже в четырехкомнатной квартире, они пригласили мать на новоселье.

— Не ходи! сказал я, это из-за них мы в подвал влезли, и вообще...

— Мало ли что...

Пошел и я к Есманским. Если малюсенькие пельмени, в которых было больше тертой картошки, чем мяса. Потом устроили ворожбу.

Таисия на чертежной бумаге нарисовала тушью правильный круг, с разными там буквами и символами. На кромке фарфорового блюдца была изображена стрелка. Сели за стол кружком и водили блюдце по кругу, возложив на него пальцы. Потом руки приподняли и нагретое пальцами блюдце пошло по кругу само.

Георгий Фаддеевич обращался к духу Георгия Батенькова, спросили о судьбе моего отца. Дух ответил: “ Никола...” Заспорили: дух хотел имя моего отца назвать, или пообещал матери, что не будет у нее ни кола, ни двора? Фаддеевич склонялся к последнему варианту.

Я ушел домой, ну их! Тоже мне прорицатели! Разморило людей от браги...

Эта зима была самой холодной и голодной в моей жизни. Ничего кроме пайкового черного, жидковатого хлеба, да и тот не всегда удавалось выкупить.

Однажды мать меня послала к отцову брату, Сергею Николаевичу, который по её словам задолжал ей деньги. Она велела взять санки, если не будет денег, то пусть дядя даст дров и съестного.

Дядя Сережа имел инвалидность. Он каждое утро выходил на проспект имени вождя Кирова с двумя табуретками. Возле тротуара на одну табуретку он садился сам, а на другой

раскладывал шило, дратву, сапожные кремы и щетки, молотки и гвоздики. На груди у дяди висела картонка: “ Инвалид чинит и красит обувь”.

Чинил он и красил недолго, до той самой поры, как у него набиралось на бутылку водки. Тогда он сметал инструмент в старую холщовую сумку, хватал обе табуретки и чуть не бегом бежал в магазин за водкой.

Дядю я застал дома. Он сидел перед графинчиком с денатуратом.

— Офицерский коньяк три звездочки, а солдатский коньяк три косточки! — сообщил мне дядя. Узнав о цели моего прихода, дядя заматерился:

— Кто, кому должен? Я ей продал на толчке двое барахлянных часов, а она хоть бы стопку налила, вот я и конфисковал в возмещение убытка траченную молью горжетку. Да мне выручки от неё хватило только на опохмелку.

Я решил надавить на жалость:

— Дядя Сергей! Я не ел два дня, у нас дров нет!

— Чисто —цыган, сказал дядя. Тетенька, дай воды напиться, а то жрать охота, аж переночевать негде! Он шагнул к топившейся плите, снял с нее сковороду с аппетитно скворчавшим мясом и шваркнул ею о стол:

— Ешь, племянничек! Денатурки прими! пододвинул он ко мне графин.

Уж я ел! Аж пот на носу выступил.

— Какое мясо ел? спросил дядя.

— Баранина.

— Она самая, которая из подворотни лает, Он провел меня в кладовку, показал висевшую на веревке недавно освежеванную собаку.

Меня стошнило. Я вернулся в кухню, плеснул в стопку денатуры, выпил, полегчало. Дядя пояснил:

— Я этим мясом от чахотки лечусь... Могу тебе ляжку отрубить. А дров не дам, у самих мало...

Я от собачьей ляжки отказался.

Вскоре Есманские порекомендовали нам в качестве квартирантки Дусю. Она приехала из деревни и работала на махорочной фабрике.

Толстая Дуся, вернувшись со смены, выдвигала из-под кровати чемодан, отпирала висячий замочек, доставала завернутый в газету шмат сала, отрезала пласт и смачно жевала без хлеба.

Я исходил слюной. Иногда она отрезала и мне малюсенький кусочек, я его заглатывал, не жуя. А Дуся задумчиво говорила:

— Отпустили бы на денек, на крылышках в Зоркальцево полетела бы. Муки бы привезла лепешки печь, картохи... Её укутать так в пути не померзнет... Не пустят все для фронта, все для победы...

Ага! сказал я, для победы! Врач говорил, кто курит, у того легкие черные, как сажа. А в деревню я могу съездить за мукой, у нас каникулы.

Она сказала:

— Нам с фронта письма бойцы пишут, наша махорочка их в окопе согревает, воевать помогает, так и сообщают... Сама читала. А в деревню могу тебе письмо дать... Саночки возьмешь, мешок. Подвезут нито, ты парнишка легкий...

Матери я не сказал, не пустит. На другой день я зашагал с Дусиным письмом, с мешком и санками через весь город, к реке Томи. Река была переметена снегами, мои опорки тонули в сугробах, дул пронизывающий ветер. Добрался до противоположного берега, еле переводя дыхание, а дорога только начиналась.

Дошел я до крутого яра, где начинался бор. Сугробы по обеим сторонам дороги. Окоченел, дико хотелось есть. Робинзон Крузо неплохо прихитрился на своем острове. А как бы он приспособился здесь? Вон, какой мороз. И где тут, среди снегов, добудешь пищу?

Бор кончился. Впереди была обширная равнина, темнело. И никто меня не обогнал, никто не попался навстречу. И где это Зоркальцево? Может, я заблудился? Здесь и замерзну?

В книгах путешественников всегда спасал случай. Он пришел и ко мне. Прикатился. Послышался скрип полозьев, закуржавевшая лошадка, мужик в санях, в огромном тулупе. Сани уже миновали меня, я в отчаянье крикнул:

— Дядя! По этой дороге в Зоркальцево попаду?

— Тпрру! В Зоркальцево?! Ты к кому там, откуда?

Я пояснил.

— Садись, сказал мужик, где это видано пехом, на ночь глядя, далеко еще, да ведь и волки в полях, я сам боюся... показал он мне топор.

Мне стало страшно. Вдруг он разбойник. Хряпнет топором и всё.

— Лезь под тулуп, — предложил мужик, одежда твоя легкая, так как там Дуська живет-то?

Я рассказал. Мужик оживился:

— Значит, говоришь, этот ранетый командир, когда у неё ночует, глаз стеклянный вынимает и в стакан с водой кладет?

— Ага! ответил я, сам видел, сколько раз. Даже вынимал тот глаз из стакана. Как настоящий...

Глаза мои слипались, я, словно провалился куда-то.

Когда приехали и зашли в дом к Дусиным родителям, я был сонный, меня положили на печку, и очнулся я только утром. В избе был крик, Дусин отец материл жену:

— Потатчица! В город да в город! Тут женихов нет! А там нашла! Проматросит и бросит. Глаз стеклянный на память оставит. С приплодом вернется, помяни мое слово!

Я был смущен. В городе любому прохожему скажи, что хочешь и глухо. А тут ночью сказал в лесу, наутро эхо в деревне отдалось!

Больше всего я боялся, что из-за этого глаза стеклянного меня не покормят и отправят обратно без продуктов. Но, услышав, что я завозился на печи, Дусин отец перестал ругаться и сказал:

— Проснулись уже? Умаялись в дороге, мы не будили, хотя завтрак давно готовый.

Пока я ел, в избу набилось народа. Спрашивали про Дусю, благодарили за то, что мы приютили в городе, хвалили за то, что не побоялся пуститься в рискованный путь.

Обратно меня отправили с попутной подводой, Дусин отец, вручая мне мешок с продуктами, сказал:

— Извините, что приходится утруждать, сами не можем отвезти, то в поле, то на лесозаготовках, скажите Дусе, разве что к Рождеству в город попадем...

Мы с Дуси квартплату не брали. Картошки дала! Сала шмат отрезала. А на деньги разве что купишь в такое время?

Однажды я читал на кухне томик Блока. Пытался понять до конца каждую строку. Мудрено закручено! Мать с Дусей были на работе. Постучали.

Женский голос сказал, что это мамина знакомая. Ей надо записку оставить. От двери я прошел к окну, в которое было видно крыльцо, поглядел: да, на крыльце одна женщина, не очень могучая, рискну, открою.

Она никакую записку не дала, а схватила швабру и вдребезги разнесла наше трюмо:

— Я покажу, как чужих мужей сманивать!..

Оказалось, что одноглазый был женат на этой скандалистке. Я видел, что она намеревается бить оконные стекла. Схватил кочергу и стал у неё на пути:

— Не сметь! С Дуськой разбирайтесь, а нашу мебель не трогать! Вы за трюмо заплатите, у меня дядя прокурор! соврал я на всякий случай.

Она меня обматерила, но кочерга все же произвела впечатление, тетка ушла, крикнув на прощанье:

— Оболью керосином и сожгу лядское гнездо!..

Вскоре мать предложила Дуське подыскать другое жилье. Тогда Есманские опять встряли в наши дела, предложили нам пустить на квартиру молодого, одинокого офицера-фронтовика. Он инвалид, у него аттестат, талоны на усиленное питание, а главное дров привезет.

Явился к нам Демьян Петрович Холстинин. Сапоги скрипят, портупея, сумка офицерская всё новенькое. Сам красивый, а лицо в шрамах. Был у фашистов в плену, пытали. Немножко на психику повлияло. Сбежал из плена, долго его проверяли, а потом комиссовали.

Первое время я боялся ночью спать, уснешь, а Холстинин этот задавит, Мало ли что ему в больную башку втемяшится? Вдруг подумает, что я фриц какой-нибудь? Я на фрица мало похож, но ведь у больных сознание иногда замутняется.

А Холстинин рассуждал вполне здраво. Выдержанной колбасы с полкило от своего пайка нам отделил, заявку в военкомат на дрова написал. Никаких странностей за ним не замечалось. Возьмет карту, расстелит на столе и рассматривает. Мать спрашивает:

— Что, Дима, вы там разглядываете?

— Гляжу, где теперь линия фронта проходит. Корректирую её, согласно с последними газетными сообщениями...

Линии на карте никакой нет, карта такая, как и была до войны. Но человек военный эту линию себе представляет. Размышляет. Оценивает ход войны. На то и офицер!

Однажды прихожу, а Холстинин снял со стены наш репродуктор, на стол перед собой поставил и бубнит:

— Сокол, Сокол! Я Алмаз! Как поняли? Пр-рием!.. Алмаз, говорю! Ве-ве-точка, дэ-дэ-точка, как поняли, пр-рием!.. Товарищ Сталин? Д-докладываю! Фрицы провели от Можайска подкоп под кремль. Товарищ Сталин, это Холстинин лично докладывает. Как поняли? П-ррием!

Тут я ему говорю:

— Дядя Дима! Вы что? Это же просто радио!

А он всё свое:

— Так точно! Квадрат вам известен, я уже радировал. Штор-рмовое пр-рредупреждение!..

Тут я потихоньку на цыпочках попятился до двери. Тихо-тихо открыл её, спустился по лестнице к подъезду. Два часа на морозе ногами перебирал, ждал, когда мать вернется.

Пришла она, рассказываю ей, дескать, в квартиру не ходи, врачей вызывай. А она отмахнулась, дескать, идем в дом, чего там? На всякого мудреца довольно простоты, а на всякого дурня -ума.

Вошли, а Холстинин, как ни в чем не бывало, лежит себе на койке и папиросу курит. Правда, забыл репродуктор на столе, не повесил обратно на гвоздь.

— Ну, как, Дима, чем занимаетесь? спрашивает мать.

Да вот, последние известия, сводки с фронтов слушал! отвечает он.

— И что сообщают?

— Да ничего особенного. Опять бои местного значения, наши войска отошли, выравнивая линию фронта. Сколько выравнивать можно? Так могут выровнять, что и от страны ничего не останется.

Вполне разумно рассуждает, словно и не он только что со Сталиным через репродуктор толковал.

Мать спросила его насчет дров. Обещал пойти к военкому и стукнуть по столу кулаком.

А на другой день шел я по главному проспекту и заметил возле почтамта столпотворение. Конечно, побежал туда, посмотреть поближе, в чем там дело? И вдруг меня мужик за ворот ухватил:

— Куда? Убьют!

Смотрю, посреди улицы остановились и грузовики, и легковушки, возчики лошадок под узцы держат, а перед затором этим офицер с пистолетом ТТ в руке мечется.

— Р-революция! Черная кошка! кричит офицер и вдруг стреляет поверх голов.

Топот многих ног. Подбегает взвод солдат с винтовками, ими командует широкоплечий мужик в мерлушковой шапке.

— Бросай оружие! истерически вопит он, бросай! Твою мать! Приказ имеем на поражение!

А в стрелявшем я узнаю Холстинина, он обернулся и мне теперь хорошо видно его перекошенное судорогой лицо.

— Не подходи! хрипит наш квартирант, взрываю здания! Все заминировано! Приказ товарища Сталина. Как поняли? Пр-рием!

На Холстинина бросается, незаметно подобравшийся к нему со спины, один здоровяк в штатском. Демьян Петрович падает, ему крутят руки. Он рычит, кусается, пускает кровавые пузыри.

Я содрогаюсь от мысли, что жил рядом с настоящим сумасшедшим. Может, мы с матерью на краю гибели были.

Больше мы нашего квартиранта никогда не видели. Он так и остался записанным в нашей домовой книге. Никто не пришел за его чемоданом. Куда его дели? В тюрьму? На психу? Почему нам не сообщили? Разыскивать его, у нас не было ни времени, ни желания.

Месяца через два я вскрыл его самодельный, фанерный чемодан, отвернув шурупы шарниров. Чемодан был пуст, лишь на дне его лежала книжка: “ Краткий курс истории ВКПб, да валялись три пистолетных патрона. Книжку я поместил на полку, а патроны сменял с одним блатяком с Никитинской на билет в кинотеатр Максимку. Как раз шел трофейный фильм.

ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО

Зимой 1943 года в нашу мастерскую на улицу Равенства-Плеханова поступил учеником Мишка Чумаков. Он жил на Тверской, через дом от нас. Один из его братьев чинил чуть не всей улице примуса и велосипеды, а летом с грохотом катал по нашей улице на мотоцикле, собранном им из разного хлама.

Возможно, что Мишка перенял у брата любовь ко всякой технике, и это привело его к нам в мастерскую. Но как на это можно было променять ресторан, где Мишка работал поваром? Боже мой, я только о том целыми днями и думаю, как бы хоть что-нибудь на зуб положить.

— Мишка, ты поди в ресторане жрал, что хотел?

Мишка, такой солидный, полнеющий в неполные двадцать лет, показал наполовину золотые, наполовину черные зубы:

—Там о еде не думаешь. Шеф блюда пробовать заставлял. То горячего хватишь, то холодного, то кислого. Зубы сопрели, желудок загубил. Всю смену на ногах толчешься, лакейская должность.

— А здесь -не лакейская?

— Здесь в деле тонкость есть, солидность, деликатность. А насчет пожрать, так я на вечеринках, на свадьбах на баяне играю, он у меня особенный, выборный, на нем не каждый сыграет. Да и вообще таких баянистов, как я -поискать.

— Знаем. И баян твой вся Тверская знает, ты его Марковым заказывал…

Мне вспомнилось, как летними вечерами из Чумаковской усадьбы доносились волнующие звуки. Вся окрестная мелюзга училась танцевать, шоркая босыми пятками по зарослям мать и мачехи и подорожника возле Чумаковского забора.

Теперь этот повар-баянист сидел в нашей мастерской, пытался собрать им же разобранный будильник и довольно напевал:

И часики идут,
И маятник болтается,
И стрелочки бегут,
И всё, как полагается…

Бывают же многогранные люди! Музыкант и повар, и мало ему!

Чумаковы занимали верхнюю часть дома с верандой и полуподвалом, в котором у них поселился приезжий кержак.

До войны я часто бывал у Чумаковых. Дед у них спал на кухне за ситцевым пологом, и мне невольно вспомнился альков коварной Миледи из книжки про трех мушкетёров. Сказал об этом моей матери, она посмеялась:

— Это деревенские обычно отделяют лежанку или кровать занавесками, а горожане пользуются ширмами -это красиво и практично. Ширму на ночь поставил, утром свернул, унес в чулан.

Мне нравилось бывать у Чумаковых. Семья большая, не то, что у нас. В обед Чумаковы ставили на стол огромную миску, садились вокруг неё и дружно черпали ложками. Находилось место у этой грандиозной миски и мне, Но то было до войны.

Наш горбатенький мастер Бынин к вечеру успевал "насшибать леваков", деньги у него водились, и Мишка ему обычно готовил ресторанный ужин на нашей маленькой одноконфорочной плите. Для каждого блюда он имел особенные дрова: сосновые, кедровые, березовые. Оказывается, это тоже имело значение.

— Эскалоп? -спросил Мишка, повязывая фартук.

— Остолоп! -сказал Бынин, антрекот сделай.

В плите взвыло пламя. Мишка ловко накромсал мясо, положил его на одно полено и отбил другим.

Желудок у меня начал протестующе сокращаться. Сейчас Бынин отпустит меня и своего племянника Толю домой, а они с Мишкой будут тут пить водку и есть по-ресторанному приготовленную вкуснятину.

— Вы остолопы, тоже останьтесь, -неожиданно сказал мастер, -поднесу по рюмашке в честь наступающего и во имя нашей будущей победы....

Один клиент, выпивая с Быниным, сказал однажды, что в жизни каждый человек раз выпивает свою первую стопку и раз -последнюю. Только они имеют значение, остальные -не считаются. Эта народная мудрость прочно засела в моей голове. Теперь мне захотелось опрокинуть свою первую стопку. Племянник Бынина пить наотрез отказался, он был от природы скромен и суров.

— Ну, и антрекота не дам,-сказал Бынин,-стану я закуску зря переводить.

Толик хлопнул дверью.

Прихватив бутылку тряпицей, игравшей роль салфетки, Мишка, как заправский официант, разлил по стопкам сорокаградусную.

Я хотел выпить лихо, залпом, по-гусарски, но поторопился, поперхнулся, закашлялся.

— Тебе не вино пить, а разведенную простоквашу! -усмехнулся Бынин.

— Да чо я, первый раз что ли? Да я стаканами пил. Не пошла что-то, со всяким может случиться.

Это я сейчас знаю, что у меня есть сердце, сосуды, печень, тогда теоретически я это тоже мог знать, но мне это было без надобности. В тот вечер первая в жизни стопка зажгла у меня внутри маленькое солнышко, от которого веселье и беспечность упругими волнами поднимались к голове. Мой хмельной и язвительный мастер и темнозубый Мишка казались такими умными и милыми, такими родными, что хотелось обнимать их и плакать.

Откуда-то в мастерской возникла женщина, вынула себя из шубы, потом из разреза платья вынула полушарие с соском:

— А? Сосунок?

Лиса с горжетки скалила зубы, хотелось погладить и лису, и женщину. Я встал, пошатнулся, меня поташнивало. Услышал голос Бынина:

— Лучше сгинуть в поле, чем в бабьем подоле! Веди его, Минька, домой, небось, сразу проветрится.

Женщина, обнимая Бынина, сказала:

-Там такой колотун, что сосуночек сразу проветрится.

Мы вышли в ночь. Над печными трубами стояли дымы. Заборы были давно сожжены, тропинки вели напрямик сквозь дворы. Куржак серебрился на бревенчатых стенах, на сохранившихся кое-где резных завитках. Солнышко во мне уменьшилось, но не растаяло.

-Мишка, нам хорошо, верно? Ты -в демисезоне, я -в телогрейке, а не мерзнем. А прошлой зимой на Крестьянской мужиков мыли в полосатых халатах. По-русски — не бельме, спросил, -не узбеки ли? Мотают головами в чалмах. Кассирша кричит: "Мальчик, не подходи к ним, с них вши валятся, как осенью с кедров шишки.

Смотрю: халаты у них на груди с большими вырезами, груди загорелые, волосатые. Прямо -пираты! Так я и не понял, кто они, за что к нам сосланы. Не добровольно же в Сибирь-то попали? Как думаешь? Нынче их в городе не видать. Перевели куда-то?

—Упрятали.

— Куда?

— В землю. Ссыльные. На стройке работали. За зиму все сгорели, легкие у них к нашим морозам не приспособлены, работа -на улице, паек -голодный, ночевка в холодном бараке.

— Да-а! Мы-то в их жаре запросто стали бы жить, грей себе пузо на солнышке, а вот им в нашем холодке -слабовато. Я вот в чунях всю зиму хожу, телогрейку уже и штопать негде и -хоть бы хны.

Я в кепке всю прошлую зиму проходил, шапку было купить не на что. Получилось воспаление среднего уха. К врачу не ходил, чего там, в очереди стоять. Люди подсказали. Вечерами теплую золу в тряпке к уху приматывал. Днем завяжешь ухо этой же тряпкой и -на работу.

Полведра гноя с кровью вытекло. Думал, и мозги все вытекли. Бынин ругался, ему на мою грязную тряпку смотреть тошно. А где другую взять? Теперь и тряпка -дефицит…

Ну и что? И вижу, и слышу, и говорить могу, одна беда -жрать все время хочется.

—Завтра я на свадьбе играю, на Петровской, айда со мной, поможешь баян нести, и наешься там, на свадьбе.

— Какой номер -Петровская?

—Тридцать девять, там, у тети Шуры Лоскутовой кто-то женится.

— Обязательно пойду! У меня там дядя родной, дядя Костя в этом номере живет, да и тетя Шура мне какой-то дальней родней приходится. Ну, брат, жизнь у тебя с баяном. Обязательно пельмени будут, свадьба же! Пельмени теперь меньше копеечной монеты делают, больше десяти штук в тарелку не кладут, но все равно -класс! Хоть вкус вспомнить…

Трах! Показалось, что кто-то перетянул меня тяжеленной дубиной по спине. Сугроб перевернулся, сверкнуло звездное небо, потом темнота, мотание, стуканье головой, чей-то крик.

Случилось это на Алтайской, возле Орловского переулка. Едва я осознал себя, увлекаемым куда-то по морозным ухабам, как меня отпустило, и я оказался лежащим поперек дороги, как раз напротив Петропавловской церкви, окна которой были забиты досками, так-как тогда там хранилось зерно.

Заметил я удалявшийся "Виллис", в конце Сибирской основалась медсанчасть, вот, видно, туда и гнали. "Виллис" такой странный американский автомобиль высоконький, узенький. Один такой возле почты недавно с высокого косогора брякнулся, тоже военные ехали. Пьяные. Убились все. Там косогор высокий, а дорога оледенела.

Я приподнялся, ощупывая руки и ноги. Ничего, вроде бы. Спина только ноет сильно. Встал, отряхиваясь. Мишка уже был рядом:

—Что? Где болит? Что? Все цело? Это тебя бог спас за то, что ты сирота несчастная...

— Кто сирота несчастная?! — возмущенно воскликнул я. Сам ты несчастный!

Нет! Никогда я себя особенно несчастным не считал, а уж сиротой и подавно. Оказывается, другие это видят иначе.

— Так как же не сирота? Батя на фронте погиб, матка уехала. Один, стало быть, сирота. Годы твои еще несовершенные.

— Мать из-за растраты смылась, что ей садиться было? Она ведь мне пишет, зовет к себе. С Томском расставаться неохота, вот что. Как магнит, какой тут спрятан.

Мишка не слушал, он повернулся к церкви и мелко крестился, он даже на колени упал:

— Слава тебе, господи! Благодарю тебя за чудо твое!

— Причем тут чудо? Пьяные ехали на "Виллисе", а два выпивших разгильдяя рты на дороге разинули.

— Это ты зря, — укоризненно сказал Мишка, — истинное чудо. Ты что? Они ведь тебя сшибли да еще сильнее газанули. Едут, сволочи, без фар. Если бы голова -под колесо? Каюк сразу! А руки-ноги переломало бы, ребра, позвоночник? Инвалид на всю жизнь. А ты невредим и в аккурат напротив церкви из-под машины тебя вытащило. Как не чудо? Слава тебе, господи! Снова мелко и быстро закрестился он, опять оборотясь к церкви.

Я ощущал неловкость. И чуда мне всегда хотелось, и верить в него не мог. Столько боли и мерзости к своим тринадцати испытал. А, может, он был прав? И после, что только со мной ни делали в этой стране, а вот — живой, сижу, пишу эти строки. Может, кто-то меня только единственно для этих строк и сохранил?

На другой вечер на Петровской тридцать девять я ел пельмени, косясь на жениха с кирпичной рожей, и на невесту в белом, которой, по-моему, жених и мизинца не стоил. Сержант в госпитале долечится и опять на фронт. Но, говорят, теперь девушке и такого жениха трудно найти. Эх, был бы я чуть потолще, и чуть постарше!

Мишка играл на баяне. Две Вали, которых, чтобы отличить, называли Белой и Черной, выскочили в круг и с визгом и топотом запели:

Сыпала, посыпала,
Серединка выпала,
А остались краешки
Милому на варежки!

А чудесное солнышко было снова во мне и посылало свои ласковые волны к моей голове. И я чуть не заплакал, когда Мишка заиграл танго, и все запели:

Новый год, порядки новые,
Колючей проволокой лагерь огражден,
Со всех сторон глядят суровые,
И смерть голодная нас ждет со всех сторон...

Выборный баян рассыпал перламутровые блики, мелодия танго была одновременно торжественной, горькой и грустной. Колючая проволока, лагерь, суровые глаза -все, всем было понятно и близко. Такая страна, такая земля страшная, горькая и сладкая одновременно. Каждый, конечно, думал о своем: и я, и Мишка, и невеста, и дубоватый жених. Все посуровели. И старинные часы как раз в это время пробили двенадцать.

Запах хвои, опрокинутые рюмки прозвенели, как бубенцы издалека. Рукавом кто-то задел их. Жар от печки, холод -от окна. Кто-то выходил, кто-то входил, кто-то исчезал совсем. Мишка потряс меня за плечо:

— Ну, три часа ночи уже. Домой-то пойдем? Играть уж некому, лыка не вяжут.

Мишка был почти трезв. Ему, разумеется, подносили, но он все это сливал в специально принесенный бидончик, дескать, сейчас я при исполнении, потом, дома, приму за ваше драгоценное здоровье, за новое счастье и все такое прочее.

— Мишка, — сказал я, очнувшись,— Мишка, тут елка нарядная, тепло, еще холодец остался, давай тут ночевать? С баяном идти теперь опасно.

— Да мы же вон — с Федькой! — указал Мишка на парня в милицейской форме.

Я его, этого корявого, немного знал. Он где-то там за углом на Сибирской жил. С милиционером, конечно, и в три часа ночи не страшно, но меня разморило и так не хотелось уходить из тепла.

— Мишка, ночуй! — посоветовал я, — а то оставь здесь баян, а завтра заберешь.

— Ну, да, всякая пьянь тут его дергать будет, выборный баян, дорогой, сам знаешь. Мы с Федькой пойдем...

Спал я на горячей русской печке вместе с незнакомыми пьяными парнями. Они тяжело храпели и дышали перегаром.

Встал я раньше других. Тетя Шура предложила мне опохмелиться, как взрослому. Но я сказал, что опохмеляюсь лишь на пятый день запоя, а вот холодца пожую, чайку стаканчик — с удовольствием.

День был рабочий, а Мишка в мастерскую не явился. Бынин сказал:

— Запил, поди. Ты рядом живешь, зайди в обед к нему, узнай.

Пришел к Чумаковым, а у них — вой. Мишку утром в проруби нашли. Кто-то затемно воду брал, ведро зацепилось. Грудь у Мишки была прострелена и голова.

Шли они с милиционером, баян большой, тяжелый, а у милиционера заклинило в голове: дорогая вещь, денег много будет. Переходили Ушайку, прорубь на пути, ну, стало быть, концы в воду.

Милиционер он; кто? Просто парень с двумя классами образования и ничего больше. А вид ему придает фуражка и шинель. Вид придают, а ума и доброты не добавляют. Да и какие тогда милиционеры были? Или женщины, или древние старцы, или сопляки.

Выходил я от Чумаковых, а следователь зачем-то как раз Федьку туда привел. Эксперимент следственный или что там...

Мишкины родители о чем-то Федьку тихо спросили, и зарыдал он, как заполошный.

Я шел на работу, а в голове у меня звучало последнее танго Мишки Чумакова:

Со всех сторон глядят глаза суровые,
И смерть голодная нас ждёт со всех сторон.

УЛИЦА РАВЕНСТВА

Этот дом на углу Гагарина и Плеханова теперь реставрируют предприниматели. Мне интересны два окошка нижнего этажа дома со стороны Гагарина, бывшей — Равенства. Вон там, в глубине комнаты, мой верстачок и стоял. Возле окошек сидели Василий Андреевич Бынин со своим племянником Толей. Толин верстак был возле самой двери, а мастер сидел возле второго окошка, поодаль, чтоб не дуло.

В двери было прорезано квадратное окошечко, приделана была к нему небольшая дверца. В этот квадратик заглядывали к нам клиенты.

Если обращалась молодая, красивая женщина, Василий Андреевич вставал, отворял, приглашал:

— Пожалуйте внутрь, присаживайтесь рядом со мной, вместе посмотрим ваши часики.

Василий Андреевич был дважды горбат, но лицо имел симпатичное: лучистые голубые глаза смотрели гипнотически, на широких скулах играли волевые желваки. Говорил он ласково, вкрадчиво:

— Вы кому-нибудь давали?

Если клиентка отвечала, что лишь раз показывала одному мастеру, Бынин говорил:

— Зря! Давать надо только настоящему знатоку дела, больше никому давать нельзя, даже показывать. Неумеха только напортит. Волосок у вас дамский, нежный, он его помнет и никакого удовольствия. Настоящий мастер и ритм должный создаст, и по времени все будет хорошо...

Приговаривая так, он разбирал часики, устранял поломку, сам надевал даме часы на руку, целуя кожу возле часов, говорил:

— Будет беспокоить, заходите к вечеру, проверим. Заодно чайку попьем, у нас за ширмой столик, лежаночка, если кто утомление чувствует...

Иные дамы хихикали, иные молчали, оглядываясь на дверь. Но нередко случалось, что к концу рабочего дня какая-либо из дам являлась и говорила, что, вот де, часики отстают.

Тогда Бынин говорил нам:

— Дуйте домой, ребятки, нынче дежурство без очереди проведу, а вы потом отплатите

С 1943-го года мы стали по очереди ночевать в мастерской, ибо под новый год в нее лезли воры. Они уже сломали толстое бемское стекло в том окне, где на подоконнике Бынин установил бронзовые часы с амурами и завитушками, находившиеся под током.

Воры лишь сдвинули часы с места, в мастерскую не полезли. Но Бынин сказал, что теперь они могут прийти в резиновых перчатках со специальным инструментом и отключат ток, лучше уж сторожить.

Обычно мы ночевали в мастерской с Толиком вдвоем — веселее. Мне было тринадцать, Толик был на год старше, почти юноша, голубоглазый, как все Бынины. С черными тонкими бровями, с правильными чертами лица. Им уж иногда и девицы интересовались, но вел он себя нередко по-мальчишески.

Мы выковыривали пистоны из оставленных Быниным патронов, заполняли ямку пистона хлебным мякишем, накалывали на шило и кидали так, чтобы пистон взорвался, ударившись о стенку. Мишенью нам служил плакат с изображением сталевара.

Встали в семь, в восемь открыли мастерскую, но Бынин опаздывал.

— Давай халтуру сшибем!-предложил Толя, что, в самом деле! Мы тоже люди!

Как раз в наше окошечко всунул голову боевой майор, на груди звякали две медали. Часы у него, видите ли, встали.

Толя вдел в глаз лупу, посмотрел, сказал:

— Обождите минуточку, наладим.

Он вставлял в барабан часов новую пружину, а я тем временем чистил и смазывал механизм. Управились быстренько.

— С вас сто семьдесят два рубля шестьдесят три копейки! — назвал Толя цифру позаковыристее.

Сердце у меня радостно запрыгало: заработали, халтуру сшибли, ура!

— Деньги вам? — переспросил военный. — Деньги? — достал он потертый бумажник.— Вот деньги! Вот деньги! — Он доставал сотенные бумажки, комкал их, совал в рот и жевал.

Это было так дико, глупо и страшно, что Толя забыл всю свою солидность и жалобно попросил:

— Дяденька, не ешьте деньги!

— Деньги вам?! — повторил майор и стал рвать двери с крючка. Я вспомнил, что за ширмой у нас есть ружье, есть и патроны к нему. Не все же мы распотрошили? Я бочком двинулся за ширму... Чем бы это все кончилось, не знаю, но тут явился Бынин. И майор странным образом успокоился и даже рассчитался за ремонт.

И, ворча что-то себе под нос, удалился.

—Тек-с! — Халтурите тут без мастера! — насупился Бынин. Прошел за ширму, увидел обожженного и покалеченного нами плакатного сталевара, но только головой покачал. С утра у нас клиенты шли, что говорится, косяками, не до разговоров.

В обед Бынин съедал за ширмой парочку домашних котлеток, пил водку, звякая бутылкой о стакан. Из-за ширмы он появлялся порозовевший, взобравшись на табурет, напевал:

Все говорят, что я ведра починяю,
все говорят, что недорого беру!

Теперь уже мы с Толиком обедали. Толик делился со мной вареными картофелинами. У меня ничего не было, кроме крохотного кусочка пайкового хлеба.

Мы дома ничего, кроме пайкового хлеба не имели, картошка на базаре стоила шестьсот рубликов! Я и на работу-то устроился из-за увеличения пайка. Иждивенцу хлеба давали лишь четыреста граммов, а рабочему целых шестьсот!

С начала войны нашу квартиру трижды обокрали, продать нам с матерью было нечего. Пайка мне никак не хватало, организм хотел расти, и бунтовал, в животе постоянно что-то ныло и сокращалось.

Совестно было объедать товарища, но что было делать? Дома уже давно ни одной картофелины не было.

После обеда Бынин обычно давал мне записку к буфетчице Зине, работавшей в буфете клуба "Строитель". До него рукой подать, находился он примерно там, где теперь стоит гостиница "Сибирь".

Я отдавал Зине Бынинскую записку и расписанный розами четырехлитровый бидон. Она хватала посудину, успевая другой рукой пощекотать мне неудобное место:

— Может, покормить, чтобы стебелек быстрее рос?

Меня тошнило от запаха ее крема, пудры, духов. "Дура!" -думал я.

И говорил:

— Давай быстрее, у дяди Васи гости!

Схватив бидон с пивом, я выбегал во двор, прятался за поленницей, отпивал примерно пол-литра пива, подходил к торчавшей во дворе колонке, доливал воды.

Я был очень доволен проведенной операцией. Я же читал плакат на стене литерной командирской столовой, что там было сказано?

"Пейте пиво Росглавпива! Кружка пива заменяет по калориям четыреста граммов хлеба!"

И вот я шел и высчитывал. Я съел в обед сто граммов хлеба да пару Толиных картофелин весом примерно граммов сто. Двести. Приплюсовать сюда пивные четыреста, ого!

Бынин пил пиво и ворчал:

— Ну, Зинка, сука, своим разбавленное продает!

К вечеру Бынина изрядно развезло, он сидел за ширмой, горестно подбоченившись, и вдруг позвал нас:

— Эй, вы! Рабочего расстреляли?

— Мы же не часовщика, а сталевара...

— Все равно! За такое, знаете, что бывает? Что такое рабочий класс знаете? Запорю!

— Как запорется! Нажрались до свинства, а еще чего-то... Рабочий класс халтуру не сшибает и так не надирается! — Толя смотрел мастеру прямо в глаза. В нем проснулось бынинское упрямство.

— Ах, вы, щенки! Смотрите!

Бынин подбежал к рубильнику, сжал его рукой, по скулам ходили желваки, рука дрожала, но он пропускал через себя электроток минут пять, если не больше. Отпустил, обернулся к нам:

— Кто из вас повторит?

— Мы еще с ума-то не съехали! — отвечал Толик.

— Так я, по-твоему, съехал? — Бынин взял племяша за ворот рубахи.

Подрались бы, но тут раздался мелодичный голосок:

— Можно к вам?

Бынин отворил дверь, вошла девушка, почти девочка. Где я видел её?

Да это же Муська! Быть не может! Бынин смотрит масляно, двусмысленностями ее веселит, а она-то заливается... Неужели?..

В девятом номере жила на горке, через два дома от нас, Там еще тогда кержаки в подвале поселились. Кержацкий пацан Илья был много крупнее меня, но смирный, это мне нравилось. Его младшая сестренка Нина, тоже белокурая, с большими грустными глазами, с

ямочками на щеках, очень похожая на киноактрису Марину Ладынину, дружила с этой самой Муськой.

Мать меня ругала, что в кержацкий подвал хожу. Отец их — бука, в тарном цехе на "Конфетке" бочки ладит, а сам туберкулезом болен. Куда медики глядят? Тарный, но все равно, продукты рядом,

Врачей в дом не пускает. Лекарства, говорят, в отхожее спускает, дескать, все это от беса.

— Уморит черт белобрысый детишек. И охота тебе там заразу цеплять?— говорила мне мать.

Разве человек в семь лет боится каких-то там микробов, тем более, что их и не видно! Я приходил в подвал, приходила туда и Муська, на широкой кровати, на туберкулезных махрах начиналась увлекательная возня.

Мы на том рваном одеяле ели из туеска по очереди патоку, черпая ладошкой, заедали калиновым пирогом, рассыпая по постели крошки. Потом боролись.

И Муська, и Нина были, каждая по-своему, красивы, приятно было ощущать их горячее дыхание на своем лице, они пахли патокой, калиной и родниковой водой.

Илья в этом не участвовал, сидел за столом и степенно повторял:

— Будя!

Спрашивал я Илью: пойдет ли он зимой в школу? И он показал руки, возле больших пальцев можно было нащупать ямки: косточки там выпали.

Это озадачивало: как косточки могли выпасть сквозь кожу?

Вскоре Илья умер. Нина тоже болела. Трогательная, с болезненным румянцем на щеках, белыми мелкими зубками, она любила нас с Муськой. За то, что мы играли с ней.

Мать ворчала: "Тебе в том подвале, как медом намазали. В духоте, сырости и здоровый дуба даст. Не с кем играть?.."

Через какое-то время умерла и Нина. А кержак еще долго жил в там подвале угрюмый и одинокий.

Я стал ходить к Муське, она была красива не такой, как Нина красотой, более резкой, насмешливой, что ли? Но тоже нравилась. Мы вспоминали своих мимолетных друзей, собирались сходить к ним на могилки, прибраться, поплакать.

Но детство беспечно. Мы так и яд собрались к Нине и Илье. Потом грянула война, Муська куда-то переехала из девятого номера, я потерял ее из вида.

Теперь Муська сидела в нашей мастерской в малиновом берете, курила Бынинскую беломорину, сбивая пепел оттопыренным пальчиком прямо на пол.

Наконец она узнала меня:

— Ты тоже здесь работаешь? — спросила просто, чтобы что-то сказать. Смотрела, как умудренный опытом человек на несмышленыша, хотя возрастом мы были равны.

— Можете пойти сегодня домой пораньше, — сказал нам возбужденный Бынин.-Я сегодня за вас подежурю...

— Очумел! — сказал Толик, когда мы вышли.

— Лихой! Давно он такой?

— Всю жизнь. Жена его, тетя Маруся, ревновала поначалу. В мастерской накрыть с бабой пыталась. Жена в парадную дверь стучит, а он шалаву с черного хода выпускает.

Пришла раз тетя Маруся с сестрой, изловили одну, волосики ей сильно проредили. Так он сказал, что на развод подаст. А Бынины упрямые, слово держат. Тетя Маруся и отступилась.

— Знаешь, отчего он горбат? Переселялись в Сибирь. Дядя Вася младенцем был. Холодно, на телеге тряско, он реветь. Отец ему кричит: "Молчать!" А он — свое. Шваркнул его отец о дорогу...

Муська с того вечера зачастила в мастерскую. А мы с Толей и рады. Пораньше уйдешь, в "Максимку" на трофейный фильм сходишь, отдохнешь. Все дорого, а билеты в кино не подорожали. И книги были дешевы, как и до войны. Времени бы побольше!

А потом наш мастер вдруг потерялся. День-два — ни дома, ни в мастерской. И страшная новость: за Карандашкой, на капустных грядках труп Бынина нашли. Тридцать две ножевых раны. Все руки изрезаны и лоб.

Понятно, что руки исполосованы, за нож хватался, или за ножи? А про то, что Бынин — лобовик, мне еще отец до войны рассказывал.

Прибьют в мастерской поперек дверного косяка две толстенных доски. Бынин руки назад, разбежится и лбом доски ломает. Лбом любого мужика прибить мог.

Следователи в нашей мастерской все часы переписали, то меня допросят, то Анатолия. Последний раз видели Бынина в ресторане "Север". Был там, разумеется, с Муськой. До закрытия сидели. Уходил из мастерской, так собрал все золотые часы в кошелек, значит, не в мастерской ночевать собирался, а где?

Муську арестовали. На суде говорила, что Бынина зарезала именно она. Завел горбун бедную девушку на капустные грядки, изнасиловать пытался, совратитель этакий.

Видно, пригласила она его, якобы, к себе домой, привела пьяненького на окраину, под жиганские ножики. Слух был: любила Муська отчаюгу одного фартового из Заистока... Эх! А в школе отличницей была и не злая вообще-то. Мне ли не знать. А все — война, не мать родна. Многих она в закутки позапихала, многим карты спутала. Дали ей, несовершеннолетней, не то десять, не то восемь лет. Куда делась потом — не знаю.

Той же осенью Толя Бынин отдыхал на Басандайке. Отдыхающие на острове посреди Томи собирали ягоды, когда на берегу в доме отдыха в рельс ударили, призывая всех на обед.

Народу в лодку набилось столько, что осела она до краев. Отплыли, а тут мимо моторка прошла, волна от нее лодку и затопила. Толя стал одну девушку спасать, уже из сил выбился, когда в него вцепилась уже другая. Так выбыл Толя из жизни.

А жизнь шла и несла такие непредсказуемые треволнения, беды-напасти, а иногда и радости. А Толя уже ничего не знал, не чувствовал. И не участвовал ни в чем. И я стал все реже о нем вспоминать. И мастера Василия Андреевича позабыл.

И все же… Идешь по Равенства, дойдешь до угла улицы Плеханова, глянешь на окна, где наша мастерская была, что-то на миг в душе встрепенется и уйдут сразу же дела, заботы.

А недавно иду, смотрю и глазам не верю: по Равенства навстречу мне Толя Бынин идет. Он! И на нем его пиджачок из отцовского кителя перешитый. Да как это так? Да будь он жив, он вырос бы, я бы не узнал его.

Поравнялись мы, гляжу в глаза -не узнает! Не он! Разминулись уже, я позвал:

— Алло! Вы случайно не Анатолий Бынин?

Ну, думаю, сейчас он скажет, мол, ошиблись вы, гражданин. А он и говорит с ухмылочкой непонятной:

— Конечно это я, а что вы хотели?".

"А что вы хотели?"— это же наш лексикон, так мы к клиентам мастерской обычно обращались.

—Толя!— говорю, это странно, но ты же должен меня узнать, мы же в мастерской часовой вместе с твоим покойным дядюшкой Василием Андреевичем работали. Помнишь, раз халтуру сшибли, а военный стал деньги жевать? Но я-то тебя не мог ни с кем спутать, лицо белое, с характерным румянцем, глаза такие глубокие голубые. Ты меня можешь и не узнать сразу, но приглядись, вспомни...

Он спокойно так отвечает:

— А я уже вспомнил. Я как раз из мастерской этой иду, а дядя Вася там сидит, вас ждет... — он повернулся и быстрым шагом пошел.

У меня в голове все перепуталось: как дядя Вася может там сидеть, когда там мастерской сколько лет в помине нет, была контора какая-то, потом жильцы поселились.

Побежал туда, на угол. Смотрю в окошке -мастер наш, с лупой в глазу, как ни в чем не бывало сидит. Дернул дверь — закрыто!

Затарабанил. Вышла тетка в шлепанцах, недовольная такая:

— Чего ломитесь, я вас не знаю.

— Василий Андреевич, горбатенький, мастер, часовщик, я только что его видел в окошке.

— Путаете что-то,— сказала она, подозрительно меня оглядывая.— Муж мой больной человек, да, но при чем тут какой-то Василий Андреевич? Часовщик при чем?

— Ну, он же с лупой в глазу...

Дверь со скрипом и грохотом захлопнулась. Из-за двери женщина сказала:

— Если он рассматривает марки, то это никого не касается. Он инвалид, он так развлекается. Не лезьте в нашу жизнь. У нас телефон, я милицию вызову!

Я то забываю этот случай, то вспоминаю вновь. Попаду на Равенства и невольно вглядываюсь в прохожих: может, снова Толю встречу?

А в доме, где наша мастерская была, теперь ремонт. Пустота за оконными стеклами. Однажды вечером видел в этих окнах свет. Фигуру горбатенькую и другую — тонкую, юношескую.

Кинулся туда, вроде, знакомые голоса за окном слышались. Свет в окошке погас. И сколько я ни смотрел в окно, за темным стеклом ничего не различить. Постучать не решился.

МАСТЕРА ПЕРВОЙ РУКИ

В часовых мастерских Томска были свои корифеи, среди маленького мастерового мирка передавались о них из уст в уста легенды. Слава иного умельца переживала столетия. Именно в мастерской впервые услышал я об Иване Мезгине, крестьянском сыне, который держал в Томске часовой магазин. Много лет спустя прочел о нем брошюрку

Примерно в 1840 году Мезгин стал часовщиком в Томске. Шесть лет он создавал свои особенные часы. Они показывали движение планет, год, день, число и время.

Часы разыгрывали "представление". Была изображена Томь с пароходом и лодкой на ней, по Томи шли волны. На противоположном от города берегу подъезжал кортеж навестившего Томск Великого князя, Игрушечные гребцы перевозили его со свитой в город. Там ожидали его войска и начальство, оркестр играл гимн. В башне был балкончик, "князь" показывался на нем, приветствовал народ.

Где теперь эти часы Мезгина никто не знает. Но молва о них жива.

До революции было очень много, часовщиков на улицах Загорной и Подгорной. Они скупали у старателей золотишко, занимались не только ремонтом часов, но и ювелирным делом.

Михаил Иванович Тягунов жил на Подгорной и, видимо, был человеком тщеславным. Часовщики тогда получали запчасти от швейцарских фирм и собирали ходики с "кукушками" и -без. Корпуса делали на месте из сосны.

Тягунов же решил делать на месте и циферблаты, на них стал делать надпись;

"Часовой завод М. И. Тягунова ".

Эта надпись и сыграла свою роковую роль в 1938-ом году, когда арестовали и Тягунова, и моего отца,

Однажды, когда отца вели по коридору, он слышал, как допрашивали Тягунова:

-Что же ты, сука, говоришь, что не был заводчиком? -орал следователь, вот же на циферблате написано; "Завод Тягунова!"

Родственникам Тягунова дали потом справку, что умер он от прободения язвы желудка.

В детстве отец мой ходил заводить часы в дом купца Иннокентия Кухтерина. Богатые хозяева имели много настенных и напольных, и настольных часов. Их нужно было заводить и регулировать, чтобы все они, всегда показывали одно и то же время. И когда они одновременно начинали отбивать часы и наигрывать разные мелодии, по квартире шел перезвон.

Отец мой так и не узнал, что я во многом повторил его детство.

Будучи учеником часовщика, я ходил заводить в годы войны часы в то самое здание, где теперь находится писательская организация. Мраморные ступени и в те времена с одной стороны были уже сильно стерты. Тогда там был горисполком. Я взбирался по лестнице-стремянке и заводил в кабинетах ответственных работников часы. Секретарши потом поили меня морковным чаем.

В годы войны инженер Копелевич чуть было не сделал Томск часовой столицей. Этот изобретатель прибыл к нам откуда-то и стал создавать завод часов. Вскоре в магазинах появились ходики местного производства. На циферблатах были буквы ТЧЗ, мы шутили тогда, что это почти аббревиатура Челябинского тракторного.

Томские ходики покупали бойко, а потом так же шустро потащили обратно в магазин. Ходики больше двух недель не шли, даже с дополнительным грузом на гире. Копепевич хотел выпускать и будильники, но завод закрыли. Изобретателя могли бы посадить, как "врага", но он как-то вывернулся. Не суждено было Томску стать часовой столицей.

Рядом с Домом офицеров стоит кирпичный небольшой дом, к нему раньше были пристроены летние веранды, сквозь которые проходили стволы двух сосен.

Хитро придумали строители! А к верандам этим, на уровне первого этажа, была пристроена будочка, на которой многие годы висела вывеска: "Самуил Драбкин. Ремонт часов с гарантией".

Мастер, действительно, выдавал письменную гарантию с личной печатью. Но сам он ремонтировать часы не умел. Он занял это место еще до революции, верно рассчитав, что здесь от клиентов отбоя не будет.

Самуил Драбкин, высокий, внушительного вида еврей, важно восседал на вертящемся стуле и рассматривал в лупу механизм часов. Заходил клиент, видел перед собой мастера, занятого делом, проникался к нему доверием.

Драбкин брал за ремонт очень дорого, зато важно сообщал заказчику, что гарантирует исключительное качество ремонта. Затем Драбкин относил принятые им часы в различные мастерские города молодым способным мастерам. Он давал им заработать, и зарабатывал, таким образом, сам. Все были довольны-

Работал на Драбкина мой отец, работал на Самуила и я, когда отца уже не было в живых. Драбкин жил очень долго. Всех частников уже разогнали, но Самуилу Драбкину разрешили работать по патенту и оставили в его собственности будочку-мастерскую.

Когда в военные годы я заходил в мастерскую Драбкина, ему было уже около ста лет. В мастерской дымила печурка-буржуйка, Драбкин обращал ко мне огромный красный нос, выпуклые глаза с прожилками слезились, но говорил он очень умно, с юмором.

Я знал, что он в очень большом почете у томской еврейской общины, хлопочет перед властями о сохранении старинного еврейского кладбища, собрал деньги, чтобы строящуюся дорогу провели в обход этого кладбища.

Впоследствии в бывшей мастерской Драбкина сидел мой добрый знакомый Паша Нартов. Это был бывший крестьянин с лицом доброй лошади. Когда-то мы вместе обучались часовым делам у горбатенького Бынина, я потом стал заниматься другими делами, а Паша стал неплохим часовщиком.

В Пашиной клетушке-мастерской помещался лишь малюсенький верстачок, а за загородкой хватало места двум клиентам, если заходил третий, то видел, что в мастерскую ему не втиснуться.

Иногда Паша запирал дверь на крючок и доставал из-под верстака бутылочку водки. Мы вспоминали мастеров прошлых поколений, поминали Бынина. Говорили об Исае Исаевиче Богомолове, об Иване Шейкине которые творили чудеса за верстаком, могли изготовить чуть ли не все часы вручную. Любой ремонт был им подвластен,

Исай Исаевич был веселым толстячком. Он сыпал прибаутками, анекдотами. Обедать ходил на базар, где его знала каждая собака. Закусывал он пирожками "собачья радость". У него был маленький задранный носик, толстые пальцы обрубки.

-Исай! ты сегодня не выйдешь из дома! -заявляла жена, запирая его в выходной на замок.

Исай выглядывал в окно второго этажа. Вскоре являлись часовщики, привязывали к спущенной Исаем веревке бутылку водки и кольцо колбасы

Однажды супруга явилась к Исаю в мастерскую и, застав его в подпитии, смахнула с верстака все разобранные часы, еще и потопталась по ним.

-Все, идиот! Теперь тебя клиенты посадят в тюрьму, и начальника твоим тоже будет на орехи!

И что же? Исай собрал все обломки и воссоздал все часы и выдал клиентам точно в срок!

Паша Нартов пил мучительно. Он глотал вино, а оно у него выливалось обратно в стакан. Я деликатно отворачивался. Наконец, судя по звукам, борьба Пашиного желудка с водкой, которую Паша упрямо в свой желудок заталкивал, заканчивалась полной Пашиной победой.

Он закусывал, и на носу у него появлялась капелька пота. Она возникала у него на носу всегда, когда он жевал, пусть даже жевал он просто корочку хлеба.

-А Пана помнишь? спросил Паша?

—Он же больше ювелир, чем часовщик.

-Ну да, полжизни в торгсине был приемщиком, потом в комиссионке. Но как разбирался в драгоценных камнях, в металлах! Жадность фрайера сгубила...

Мы вспоминали разные истории об этом Пане. Во время нэпа он говорят, делал золотые кольца из чистейшей самоварной меди. Но были точно, как настоящие.

Пан умел делать ожерелья, браслеты, копье. Ремонтировал все, от часов до пишущих машин и велосипедов.

Работая в комиссионке, Пан держал при себе массу малюсеньких шерстяных лоскутков, которые выпрашивал в пошивочных. Приносили золотую вещь, чтобы сдать на комиссию или просто оценить. Пан обязательно тер её о суконку, а потом бросал тряпочку в ящик под столом.

Когда тряпочек набиралось много, Приносил их домой и сжигал в тигле, на дне его среди шерстяного пепла сверкала маленькая капелька золота.

В тридцать восьмом Пана увели в подвал вместе с корчажкой, в которой хранилась золотая крупа.

-А Лешку Филимонова помнишь? -спросил Нартов. -Тоже мужик был толковый. Давай-ка, выпьем, чтоб земля ему была пухом

И мы пили за Лешку. У него отца репрессировали, и в школе с ним никто не дружил, боялись. Он где-то раздобыл трубу и стал уходить с ней на пустыри дудеть. И здорово наловчился.

Лешка играл на танцах, а когда подрос, стал ухаживать за девушками.

Под пиджаком к локтям у него были привязаны резинки, а к каждой резинке по финке. Если парни "возникали", Лешка встряхивал обеими руками, финки выныривали из рукавов, и оказывались у Лешки в руках.

Он был старше меня лет на пять. Я завидовал его трубе, финкам, отчаянности, длинным волосам, мужскому пиджаку. Мне нравилось, когда на вопрос о жизни он отвечал:

Судьба играет человеком, а человек играет на трубе.

В институт Леньку не приняли, и пошел он в часовщики. И быстро научился делу. Купил бостоновый костюм и женился на первой красавице нашего квартала Гальке Смокотиной.

Обедал он, как многие часовщики, прямо в мастерской. Иногда брал на базаре бутылочку, чтобы встряхнуться. Сидишь с лупой в глазу, час подряд волосок правишь - утомление.

Когда самому на базар идти была некогда, делал пальчиком, и рядом возникал тип. Возле каждой мастерской такие ошиваются. Мастер сует ему четвертак, тип берет ноги в руки.

У всех деньги только в получку, а у часового мастера каждый день! Ремонт при заказчике, без квитанции.

И вот так "встряхивался" Филимонов раза два-три в день. А потом стал -чаще. И стали у него пальцы трястись. И волоски править он уже не мог.

И сам не заметил, как это случилось, а только мастером в Ленькиной мастерской стал совсем другой человек, а Ленька стал тем самым типом, который за выпивкой и закуской бегает...

Иногда мастер ему давал выпить, а иногда и гнал. Тогда Ленька шел на базар, покупал там за восемь копеек стакан граненого стекла, и говорил выпивохам:

-Налейте, я водку выпью, а стакан съем.

Случалась, напивали. И Ленька закусывал стаканом. Он его, вообще-то, не весь съедал, а только краешки обгрызал.

Если не наливали, Ленька шел в гастроном, начинал на прилавке уток перебирать:
Они у вас свежие? Вроде с душком? Так и есть! Где заведующая?! -Хватал он утку и стучал в магазин с черного хода:

— Возьмите протухшую утку и верните деньги!

— Иногда ему "возвращали" деньги, хотя он их и не платил. А бывало, что разоблачали и били.

Иногда он приходил в Петропавловскую церковь и начинал петь "Интернационал". Батюшка давал ему трояк, и Ленька удалялся. Ио однажды батюшка сказал:

-Подожди, чадо, возьму дома деньги, принесу тебе, постой во дворе Ленька терпеливо ждал. А батюшка позвонил в вытрезвитель, и оттуда за Ленькой приехала машина.

Жена от Леньки ушла, трубу свою заветную он пропил, пиджак тоже. Последние несколько лет он обитал в кочегарке при Герценой бане.

Бутылки по кустам собирал и сдавал. Веники вязал. На базаре пел арии из опер. Пил разную дрянь: стеклоочиститель, пустырник и черт знает, что еще. И умер он с бутылкой перцовки во рту.

Дали ему бутылку перцовки на базаре некие ухари, с условием: что он перцовку выпьет, а бутылку съест. Он запрокинул голову и стал пить. Половину уже выпил, но сердце отказало, он и упал, а бутылку из зубов так и не выпустил.

Нет давно той мастерской, где работал Ленька, нет базара "Хрунзы", газон на том месте и березки растут. А мы с Пашей Нартовым вспомнили Леньку, и, казалось, снова нам спела золотая Ленькина труба.

Эх, Ленька! Не повезло тебе. Впрочем, отец мой тоже провел жизнь в мастерской. И от стопки он не отказывался. Но у него было много всего.

Он жалел, что в сутках двадцать четыре часа, а надо было еще тратить время на сон. Ему и театр был интересен, и книга, он хотел французской борьбой заниматься, и нырять лучше всех.

А в подпитии он был добродушен и неистощим на фантазии. Покупал на базаре птичек и тут же отпускал лететь, кидал в небеса. И птички улетали в свою птичью жизнь. А понимали они, что освободить их было можно только за счет, пусть небольшой, но жертвы? Впрочем, это уже не так важно.

ОТНОШЕНИЕ К МЕДИЦИНЕ

После трехлетних скитаний вернулся я в Томск. Ехал в товарняках, углярках.

Вот я и шагаю по Томску!

Возле Ушайки ускорил шаг: лишь перейти через мосток и наша усадьба.

-Наступи мне на одеяло, так я тя... тетка с вальком в руке вдруг умолкла.

-Смотри-ка, путешественник! Не признал тетю Аганю?

-Не вырос совсем и худой, плохо кормят в жарких странах, что ли? Письмы смешно писал, уморист ты. Вещи, где же? Багажом идут?

Вещи... Пусть на мне были заношенные тапочки, заштопанные брюки, но зато какую рубаху я сторговал на карагандинской толкучке! Бумазейная, но с никелированным замочком!

Я взвалил выжатое тетей Аганей одеяло на плечо, и мы прошли в глубину усадьбы, где стояла соседкина изба.

В нашем доме на окнах были видны чужие занавески, на веранде растение в кадке.

-Земземовы в вашей квартире живут, он -завучем в школе, начальник, сообщила тетя Аганя.

-Юрка ваш, где же?

-Работает! -с гордостью ответила она. Телефонист. Домой даже телефон провел: звонить нельзя, а слушать можно... Ночевать где собираешься?

Я потупился: Пустят где-нибудь.

Ну, чего я краснею? Я к ней не навязываюсь, да летом в любой кладовке можно спать.

-Паспорт имеешь?

-А как же! -Я достал из брюк изрядно помятый, хотя и новый, паспорт, к мутной маленькой фотографии, первой после войны, прилипли табачные и хлебные крошки.

-Отец твой работник был. Ты ведь мармелад с мармеладом ел, на мармеладе спал. И вот оно чо...

Я протянул руку за паспортом, но она сказала:

-Не пузырись, не гоню ведь. Юрку дождись, рад будет, росли рядом.

Юрка явился в сапогах гармошкой, рубаха расстегнута до пупа, не выше меня, но коренастый, грудь раздалась и закудрявилась мягкой шерстью.

-Салфет-марафет, тридцать с боку с кисточкой! -закричал он с порога, глаза его синющие, глубокие, с лучиками.

Юрка говорил такими причудливыми фразами, которые трудно понять, а может, вообще нельзя расшифровать. Иных это сбивало с толку, иных восхищало, а тетю Аганю, видно, сердило:

-Пошел черт по бочкам! -хмурилась она.

Юрка говорил, а рука так на коленке лежала, чтобы я видел сделанную на ней наколку. Пунктирная бабочка, словно из синих порошинок, сделана она на тыльной стороне ладони, чтоб видели лишь те, кому Юрка сам покажет.

Тетя Аганя позвала нас ужинать, она налила нам борща и ушла куда-то.

Юрка мигом извлек из-под половицы флакон одеколона, отвинтил пробку, высосал ровно половину прямо из горлышка, передал флакон мне:

-Керосинишь ведь? Дави, керя, обмывай приезд.

Я не смог. Юрка ухмыльнулся:

-Тебе не пить, а дерьмо ись. На вот, в стакан вытряси, дернешь, водой запьешь, и проскочит.

-Без наколки тебе не жизнь, -стал убеждать меня затем Юрка, -ездишь вот, наколку покажешь, фрайер -сдрейфит, свой накормит и напоит. Наколка лучше всякого паспорта!

-Не хочу, что я, папуас, что ли?

— Не сыпь горох! Мне сапоги лижут, только бы сделал. Наколка в ладонь стоит кусок, в четыре ладони четыре куска! А тебе-то -даром! Не больно колю, ну, воспалится на денек и заживет, зато -красота, хочешь, кочегара тебе заделаю?

— Какого еще кочегара?

— С лопатой. На лопате уголь, ты идешь, а он шурует, подбрасывает! Многие мечтают. Подумай!

Наколок я не хотел. Одеколон выветрится и все, а наколка на всю жизнь. Но было интересно насчет кочегара. Попросил Юрку нарисовать его на мне просто так, чернилами, чтобы посмотреть, что получится.

Юрка нашел перо с шишечкой:

-Ты не коли, ты рисуй! -дернулся я.

-Да я -чуть, под вид наколки изображаю, Главное в том деле штрих, понял?

Он деловито обмакивал перышко в чернила, убирал лишнее концом носового платка, отходил от меня, оглядывал критически и вновь принимался колдовать.

Потом он снял со стены зеркало, поднял его и сказал:

-Сам иди, сам оглядывайся.

Я пошел, кочегар ожил. Юрка осматривал свое творение, как истый живописец. А рисунок был мастерский. Кочегар такой характерный, с мускулистыми длинными руками и, наверное, красным носом, хотя Юрка пользовался только синими чернилами, но вот сумел даже ощущение этого красного запойного носа передать. Вообще же было не столько смешно, сколько жутко. Я хотел поскорей стереть этого кочегара мокрой тряпкой, но в этот момент тетя Аганя прошла за окном.

— Чего смурной? -спросила она меня, войдя в избу.

— Квартиру бы свою посмотреть.

— Попросись, Замземов человек важный, не нам чета, но, может, и дозволит.

Я подошел к знакомым дверям. Тут -нижние сени, из них крутая лестница ведет к верхним сеням. Отец придумал проволочный блок, чтобы можно было открывать дверной крючок с верхней площадки, не спускаясь. А вот кольцо той проволоки, что идет к звонку, Я дернул за него, услышал, как вверху открылась дверь и незнакомый голос спросил:

— Кто?

Вот те раз! Одним словом не скажешь, а объясняться, крича во все горло, как-то неудобно. Я крикнул:

-Откройте. Поговорить надо.

Этот Земземов не стал открывать крючок при помощи блока, но спустился вниз и осторожно приоткрыл дверь:

— Чего тебе?

Я стал терпеливо объяснять.

Зря я гордился рубахой с замочком. Земземов вон в халате, как барин, туфли у него, как у Хоттабыча. И я вдруг осознал, как неприглядно выгляжу в грязной измятой одежде, с воспалившимися от бессонницы глазами. Да еще одеколоном изо рта несет.

Я постарался вспомнить все интеллигентные слова, я сыпал книжными фразами. Кажется, переубедил его немного, успокоил.

-Романтическая история, принц без королевства и в рваных тапочках, -сказал он иронически, и добавил со вздохом: Я же там перекрасил все, интерьер другой, что смотреть-то? Ладно, заходи ненадолго...

Мы поднимались по лестнице, а я уже вспоминал. На каждой ступеньке что-то когда-то происходило, каждая дощечка что-нибудь да помнит.

Вспоминалось все какое-то неподходящее.

До той ступеньки дошла вода во время наводнения, тогда к нам переселили соседей из полуподвала, мне было весело, а мать была мрачной и пила валерьянку. А там, в кладовке, однажды загорелась варившаяся на примусе олифа. Отец накинул на примус одеяло.

Веранду Земземов перекрасил, ободрал обои, под которыми я однажды обнаружил целые рулоны мильенных денег.

Надо было вспомнить главное. А что главное? В потолок все еще был ввинчен крюк, на котором когда-то висела моя зыбка. А там, у окна, однажды отец повесил нечто вроде бумажной тарелки и важно сказал:

-Репродуктор!

Я вставал на табурет, прикладывал к черной бумаге ухо. Вскоре я научился разбирать сквозь шум и хрип отдельные слова, мелодии. Я готов был слушать радио дни и ночи. А однажды уже другой репродуктор, говорившей более разборчиво и громко, известил нас о том, что началась война...

Я бы еще что вспомнил, да Земземов сказал

— Ну, насмотрелся?

Я возвратился в избу. Хотелось спать. А Юрка хорохорился:

-Хильнем на пятак? Там на трофейной голяшке инвалид знаешь, как дает? Аккордеон - три регистра! Да ты можешь ли танцевать? Хочешь, научу по кресту? Меня так девки на части рвут: Юрий Васильевич Юрий Васильевич!

-Молчи уж, Юрий Васильевич! злилась его мать. -Заглотнул уже чего-то, завтра опять на работу проспишь.

Мне постелили на кухне, на лежанке. Я лег и сразу провалился в сон, Особенно сладко спится под утро. Юрка дернул меня за ногу, я лягнул его. Он вдруг дернул за ногу так, словно хотел ее выдернуть совсем.

— Ты чо! -заорал я, открыл глаза и обомлел: меня держал за ногу милиционер. Может, сплю? Откуда он здесь? Чего надо? Спать бы, спать...

-Одевайся, живо! —скомандовал усач! — Постой, руки покажи, грудь. Повернись! Товарищ лейтенант, у этого вроде наколок нет.

-Ты его всего осмотри!

Усатый обнажил меня и радостно гаркнул:

— Есть наколка, да еще какая! Художественная. Волк со стажем, сразу видно.

Теперь я уже совсем проснулся, начал соображать, Юрка, может, что-то натворил. Они явились, думают, если я тут сплю, то и соучастник.

Не волк, постарался я переубедить их, и наколки нет, это картинка чернильная. Во, - послюнил я палец, —стирается.

-Не накололи, так собирались колоть, -сказал усатый, -какая разница? Руки назад! Выходи во двор!

Юрка привычно заложил руки за спину и в тон милиционеру сказал:

—Шаг вправо, шаг влево считается побег!

На дворе было по-утреннему зябко. Возле милицейской машины стоял еще один милиционер с огромной овчаркой на поводке.

Несмотря на ранний час, в ограде толпился народ. Ну, конечно, и знакомые среди них есть! Вот вернулся я в родной город! Я весь дрожал не то от страха, не то от холода.

Милиционеры привели пьяненького кладовщика кондитерской фабрики дядю Пашу, еще двух похмельных мужчин. Выстроили нас в кружок.

Оказалось, что будут пускать овчарку, а она определит по запаху, кто же залез ночью к Земземову в окно и упер швейную машинку.

У меня в животе похолодело: собака сдуру на меня кинется, доказывай потом, что не виноват. Еще и покусать может, вон какая зверюга лохматая!

Милиционер ощупал у меня и у Юрки карманы:

-Так и есть, махры насыпали, чтоб собаку с толку сбить. Марш к забору, высыпать все до крошки!

Снова становясь в круг, заметил я в сторонке Земземова. С мольбой я посмотрел на него. Я же все рассказал ему про нашу семью, как жили мы хорошо до войны, он все понял, умный же человек. Сейчас и милиционерам все объяснит.

Милиционер что-то спросил у Земземова, и я услышал, как он громко и зло ответил:

-Ну да, этот чернявый ко мне и заходил, квартиру ему надо было посмотреть, видите ли!

Проводник дал овчарке команду:

-Искать!

У меня коленки вибрировали! Ну, конечно! Собаки и бросаются на тех, кто их боится. Проводник как раз и пускал овчарку на меня, но всякий раз, подойдя ко мне, она брезгливо отворачивалась. Неожиданно она кинулась к дяде Паше и вцепилась ему в ногу, повыше колена и зарычала.

В толпе зашумели. Земземов покачал головой:

Ну, соседи, соседушки.

Юрка побежал к забору собирать высыпанную нами махру, успел скрутить и закурить там огромную цигарку и теперь по-свойски расспрашивал милиционера:

— Сколько Паша барахла взял, товарищ начальник? По какой статье идет, на какой срок тянет?

— Много будешь знать, скоро состаришься.

Дядю Пашу усадили в машину рядом с овчаркой. Машина умчалась. Я ушел из родной ограды, тщательно пытаясь разгладить ладонями вконец измявшиеся брюки. Да, выгляжу не очень. Челка вот еще. Надо бы волосы назад зачесывать, так не ложатся они назад-то.

Через неделю знакомые мне дали домовую книгу лишь для прописки, а жить у них было негде. Может, знакомые мне книгу дали потому, что думали: все равно его не пропишут. Однако прописали. Перед этим я битый час рассказывал начальнику паспортного стола о своей жизни, и не только о своей. На мое счастье, начальник этот оказался из семьи томских старожилов. Он понял, что я коренной, на свою землю вернулся, кровную. И он сказал:

— Была, не была! -и вляпал мне в паспорт жирный штамп, и расписался.

Возле милиции я неожиданно столкнулся с дядей Пашей.

-Вас на поруки взяли или Земземов простил?

Дядя Паша разразился замысловатым ругательством. Оказалось, что молодая милицейская овчарка очень любила конфеты, а дядя Паша, когда идет со смены, во-первых, всегда выпивает спиртовой конфетной эссенции, во-вторых, всегда накладывает в карман конфет, себе на закуску и детишкам в гостинец.

Овчарке захотелось конфет, она и стала кусать за карманы. Настоящих воров нашли позже, когда дядя Паша безвинно томился в милицейском подвале.

Однажды я заштопал, отчистил бензином и отутюжил свои брюки и вечерком отправился на пятак, о котором мне говорил Юрка. В саду как раз зацвела черемуха, так, словно спешила показать себя.

Аккордеонист отбивал такт протезом, но все же сбивался. На танцплощадке было полно моих сверстников, многие из них давно работали, и потому считались как бы вполне взрослыми.

Откуда-то вывернулся Юрка, в черном костюме, в рубахе с отложным воротником, по последней тогдашней моде. Оттянул штанину двумя пальцами, похвалился:

— Шивьет! Настоящий, только перелицованный. А ты чо не танцуешь? Марухи тут фартовые, приглашай!

— Говорить с ними не умею, -сознался я.

-Пенек! Чего говорить-то? Ты ее спроси: мол, вы имеете отношение к медицине? Ну, спросишь, а дальше само пойдет.

-Что пойдет?

-Все! -крикнул он, убегая.

Я так никого и не пригласил. Неподалеку от меня стояла зеленоглазая

с белым бантом в светлой косе. Я уж хотел, было, спросить ее, имеет ли она отношение к медицине, но тут хлынул дождь, как из ведра. Все бросились бежать врассыпную.

Вот хорошее дерево, никого под ним нет. Прислонился к шершавой коре и лишь тогда заметил с противоположной стороны ту, зеленоглазую.

-Зарядил и когда кончится -неизвестно, -сказала она, —а уже и так поздно.

-Я провожу! -вырвалось у меня.

Она промолчала, и, когда стих дождь мы пошли вместе. На Тверской через заплот свешивались ветви могучей черемухи с удивительно крупными кистями. Я нагнул ветвь, и незнакомка взяла кисть губами.

Спустились под гору, и возле нашего дома она сказала, отряхивая с губ лепестки.

-Я здесь живу, спасибо.

-Как твоя фамилия?

-Земземова.

Она ушла. В пустынной тишине на безлюдной улице я пробовал сложить стихи.

Имеете ли вы отношение к медицине,
Сердце у меня теперь болит отныне...

Оно и вправду болело, оно болело обо всем, что могло бы быть в моей жизни, в жизни Юрки и многих других наших сверстников и чего уже никогда (я это знал) не будет.

85

с белым бантом в светлой косе. Я уж хотел, было, спросить ее, имеет ли она отношение к медицине, но туг хлынул дождь, как из ведра. Все бросились бежать врассыпную.

Вот хорошее дерево, никого под ним нет. Прислонился к шершавой коре и лишь тогда заметил с противоположной стороны ту, зеленоглазую.

~ Зарядил и когда кончится -неизвестно, -сказала она, а уже и так поздно.

ГЕРЦЕНАЯ БАНЯ

Тем давним летом, когда я окончательно вернулся в родной город после многолетних странствий, возвращений, новых отъездов, ноги сами понесли меня на улицу Герцена, к бане. Там жил и работал мой двоюродный брат Коляша.

Человека с сырым веником под мышкой и блаженно розовым, распаренным лицом у нас, на Тверской обычно спрашивали:

—В Герценой был? Ну, как парок?

Баня стояла в ложбине возле быстрой реки Игуменки, по которой плавали домашние утки, разводимые аборигенами, в том числе и моим двоюродным братцем.

Коляша к должности кочегара никак себя не готовил. В канун войны он неплохо учился в школе, в начале войны устроился учеником в часовую мастерскую, обнаружил там удивительные способности, но вскоре его мобилизовали для работы на военном заводе. Что он там делал —тайна, знаю только, что он отравился там кислотой. С завода его отпустили, часовщиком он уже стать не мог, вот и подался в эту баню, в кочегары.

Женился он на немке, Виктории Адамовне, девушка это была красивая, черноглазая, добрая и удивительно трудолюбивая. Она была в бане и уборщицей, и сторожем, и банщицей, и еще бог знает кем. Поволжская немка, она, может, вышла за русского еще и потому, что хотела преодолеть стену отверженности, которую создали власти вокруг высланных. Работала она с остервенением.

Коляша от жены не отставал. Он был не только кочегаром и сантехником, но и ремонтировал мебель, и банный инвентарь, электропроводку, клепал, паял, лудил, сверлил, фуговал.

Директор бани, женщина типа комиссара времен гражданской войны, только что не носившая кожанку, Коляшу ценила. Летом, при реконструкции бани, Коляша решил расслабиться после адских трудов. Побежал он с ведром на "Фрунзу", ближайший базар, дабы обратить половую краску в какой-либо крепкий напиток. Но на банный двор вернулся в сопровождении милиционера, облив этой краской свои сапоги и брюки.

Директорша увидела это в окно, вышла поругать Коляшу, мол, она дала ему эту краску в виде премии за хорошую работу, а он, вместо того, чтобы жене отнести…

Милиционера пригласили заходить мыться в номер-люкс, обещали бесплатно лучшие веники…

Коляша, женившись, на задах бани из отходов выстроил времянку в одну комнату. Почти каждый год летом Коляша, что-нибудь к времянке пристраивал, то сени, то крыльцо. Потом пристроил еще одну комнату, потом—еще. Вика рожала детей, и времянка как бы тоже плодилась.

Неловко было обременять большую семью, но только у Коляши и Вики я чувствовал себя свободно и хорошо. Когда бы я ни появлялся, Вика меня обязательно усаживала за стол. Стелила мне на кровати, а себе и Коляше на полу.

Вот и в этот свой окончательный приезд в Томск, проснулся я на мягкой перине, соображая: где я, что со мной? Со всех других кроватей, лежанок, и с постелей, лежавших прямо на полу, на меня смотрели Коляшины "короеды". Один из них, Мишка, всю ночь бродил, как лунатик, подходил к буфету, открывал его, жевал с закрытыми глазами. Забегая вперед, скажу, что вырос он могучим парнем, не зря, вобщем-то жевал.

Вика вставала раньше всех. И когда я проснулся, она уже успела не только поработать в бане, но и приготовила завтрак, и на стол накрыла.

Я позавтракал в непривычной для меня большой компании. У Коляши был выходной, но пришла директриса и сказала, что Коляшин сменщик напился. Коляша стал собираться в кочегарку.

Благодарный Вике за вкусный завтрак, я отправился хлопотать о трудоустройстве. Домой постарался прийти попозже, понимал, что у Вики с Николаем дел по горло.

Вернувшись, заглянул в кочегарку. Коляша обрадовался:

-Посиди, эта волына, сейчас в угля в люк накидаю…

Волыной он называл любое муторное дело, либо незнакомую вещь. Управился он с углем, полез за котел, где висели ряды березовых веников. Смотрю, поллитровку несёт, поставил её на застеленный газетой стол, порезал сало, лук, хлеб. Стаканы посмотрел на свет: чистейшие!

-Садись, братан, сейчас, только задвижку закрою…

—Вику боишься?

—Да нет, скоро клиенты пойдут. Какие? Пишешь, а не знаешь. У кочегара бывает клиентура. Так, народец, выпить надо, а негде. А тут —стол, лавочка, стаканы и милиция не потревожит. Ну, идут. Меня угощают, а то оставят в бутылке мою долю, если мне некогда или неохота. Веришь, нет, даже один профессор ходит.

В кочегарке было уютно, глухо, пахло березовыми вениками, умиротворяюще тикали ходики. Кран, раковина, зеркало, все удобства. Сало просто таяло во рту, так только Вика и умеет солить во все этом несчастном Томске.—Погоди, -сказал я, -мы балдеем, анекдоты травим, а котел топится. Он может перекалиться и взорваться?

— Коляша поглядел самодовольно:

— Может, если салага его топить будет. А мне и на манометр смотреть не нужно, я его нутром чую: когда клюкой ткнуть, когда угля подбросить, когда вентилятор включить. Видишь палец? Рубец? Вентилятором, лопастью. Рубануло. На ниточке висел. Скорая приехала: укол будем делать от столбняка. А я этих уколов до смерти боюсь. Идите, говорю, к такой маме. Обиделись, уехали. Я его бинтом замотал и —всё. Сам обратно прирос. Только немножко криво. Видишь?

В дверь затарабанили. Коляша спрятал стаканы и бутылку в тумбочку, схватил клюку и стал у топки:

— Отопри!

Оказалось, пришла Вика. Принесла кастрюлю, в которой дымились горячие котлеты и картошка. Вика насмешливо сказала Коляше:

— Маскируешься? Я —чо? Дурнее паровоза? Сколько лет живет, и всё за дуру держит.

— Ни в одном глазу! —сказал Коляша.,—хочешь по одной досточке пройду, а на другую не наступлю?

Вопрос был риторический, ибо пол в кочегарке был не из досок, цемент сплошь. Вика позвала меня ужинать. Я хотел идти, но Коляша не пустил:

— Погоди, не договорили еще, в кои-то веки с брательником потолковать.

Вика ушла. Коляша спросил:

— А про зрителей знаешь? Тоже не знаешь? Ага! Думаешь, зрители -только в театре. А ты повнимательнее будь, если писать берёшься. Ты замечал, что в каждой бане окна женского отделения обращены внутрь двора. А почему? Ага! Не знаешь. Окна до половины закрашены известкой или краской, так зрители эти, что делают? Приносят табурет или стремянку, влезут повыше и заглядывают, а то еще иной и голову в форточку засунет.

Увидишь такого, лопатой по спине перетянешь, докладывай, мол, кто и откуда… Один преподавателем оказался. На коленях умолял, чтобы в институт не сообщали, я, говорит, иначе удовлетворяться не могу. Не может он! А почему я —могу? Деньги обещал большие заплатить. Не нужны, говорю, мне твои деньги…

Простил я его. Так он после полгода коньяком поил, аж пить надоело…

В дверь постучали. Коляша впустил двух небритых типов. Они о чем-то пошептались с моим двоюродным, подозрительно поглядывая на меня.

— Дергайте по быстрому,-сказал им Коляша,-пейте, не засиживайтесь.

Типы присели к столу. Выпили. Один, после водки как бы расправился, осмелел, уставился на меня липкими глазами:

— Ты —начальник? Начальник, в рот тебя…

Коляша ухватил его железной рукой за запястье:

— Говорил -не возникать?

Тот замахнулся грязным, мокрым кулаком. Брат боднул небритого в подбородок, развернул и дал ему пинка в самое неудобное место, причём удар был просто снайперским.

Небритый быстро засеменил к двери, уже открыв её, обернулся:

— Понял! Он — оттуда.

— Понял и сваливай! —сказал Коляша, обернулся ко второму типу и добавил:

—Ты тоже — вали!

После ухода клиентов, Коляша сказал:

—Замаешься с ними, общественное место, разный народ. Тут один повадился в общую моечную ходить. Приглядится, кто там в хорошей одежке в раздевалку зашел, а в моечной или в парной, ненароком у него тазик подменит. По его тазику хорошую одежку получит, а тому, когда помоется, банщик какую-нибудь рвань выдает. Скандал!

Ладно. Приходят агенты. В штатском, конечно. Раздеваются и шасть за этим типом в моечную, и следят. Только он тазик подменил, они его за руки —хвать! А он мыльный, скользкий, вырвался и —тягу на улицу. Агенты, как были, голые -за ним. Одеваться-то некогда. Народ балдеет: три мужика голых в гору бегут и орут: чудо!

Да что говорить, пожил бы тут подольше, много чего для себя взял бы… Жизнь, она везде бьет ключом, и всё —по голове.

В кочегарку пришли Коляшины короеды: симпатичные девчонки, остроглазые, шустрые пацаны. Они помогали Вике убираться в общих отделениях и номерах. Один из короедов показал мне полную горсть мелочи:

— Во! Под решетками насобирал. Растеряли, разявы. А в мужском отделении я раз целый червонец нашел…

Я знал, что они во всем помогают отцу и матери. Старшая девочка, Валя, сказала:

-Хотите помыться? Мамка вот прислала вам полотенце, мочалку, мыло, идемте, провожу.

Она привела меня в предбанник:

—Хотите, закройтесь на задвижку, но теперь и так никто не зайдет.

Мылись вы когда-нибудь в городской бане в полном одиночестве? Огромная гулкая моечная, каждый шаг и шлепок множатся, как в ущелье. Пустые скамьи, ряды кранов. Теплынь, потоки из золотистых горлышек. Плеск, розовость мыла и тела. Темень за окошками. Я чувствовал себя дикарем на необитаемой планете. Как в первый день творения.

Как давно это было!

Недавно спустился с Тверской по догнивающей лестнице к "Герценой бане".

Там, где была Коляшина времянка, громоздятся бетонные гаражи. От извилистой речки Игуменки не осталось даже следа. А как тихо и успокоительно булькала она вечерами среди трав и черемух! Как славно плавали и ныряли в ней Коляшины утки! Асфальт -и всё. Ушла речка под землю. В земле -и Вика, и Коляша. Вика много, очень много работала, дети у неё всегда были одеты, сыты, ухожены.

А разве это было просто? Она заболела той страшной болезнью, которой часто болеют люди в городах, расположенных вблизи от ядерных объектов. И умерла, А Коляша не захотел без неё жить.

И вот— ни Игуменки, ни Вики, ни Коляши. Мимо "Герценой бани", проносятся один за другим огромные грузовик, обдавая всё сизым чадом. И всё страшнее мне жить здесь, на родине своей.

Коляшины короеды давно выросли, и сами имеют детей. О! Его потомков столько, что я их всех уже и упомнить не могу. Живут в разных концах города, вижу их редко. Придёшь в гости и с трудом вспоминаешь -кого, как зовут, их уж за три десятка перевалило. Бывало, гляжу на них и думаю: кажется, эта девочка смотрит глазами Вики, а у этого пацана глаза Коляши.

“ФИНШАМПАНЬ”

Я вернулся в Томскую область давно, но всё никак не мог выбрать время и навестить дядю Саню. В последний раз я видел его еще до войны, когда мне было всего десять лет. Перед войной он предусмотрительно уехал на север Красноярского края. Войну пережил среди оленеводов в тепле и сытости, заведуя поселковой почтой.

Мой отец ушел на фронт молодым и вскоре погиб. Теперь мне очень хотелось взглянуть на дядю Саню: глядя на него, я смогу представить, каким мог бы стать мой отец в старости.

Дядя Саня, вернувшись с севера, поселился в дачном городке за рекой Томью. Я быстро нашел его небольшой домик. Его жена, тетя Фрося, двигалась по комнате, переставляя табуретку.

— На шести ногах ходит, — усмехнулся дядя Саня.

Бывший брюнет дядя Саня стал совершенно белым, а от былой тети Фроси остались только её глаза с маслянистым живым блеском.

Я выставил на стол бутылку шампанского, но дядя Саня сказал, что шампанского он не пьет, и достал из подпола банку с домашней наливкой.

Сидя за столом, я чувствовал, что родственник это больше, чем просто приятный собеседник гены! Нечто определяющее саму судьбу.

“ФинШампань”!— воскликнул дядя, пригубив золотистую рябиновую влагу, вот почему я пью домашнее!

Рассказчик дядя Саня был великолепный. Мы перенеслись в 1917 год, когда в один из февральских дней состоялось освящение нового здания томского вокзала, на станции, которая с той поры стала называться Томск 1.

О, новый вокзал был кусочком Европы на томской земле! Здесь были и ряды сверкающих касс, и залы для ожидающих, и носильщики с бляхами на груди, и швейцары в ливреях, и ресторан. И даже -телеграф, куда и был определен телеграфистом юный Александр Климычев, только что окончивший с отличием училище. Это было высоким доверием начальства.

Дядя Саня сидел за высоким прилавочком строгий, в форменном кителе, с сияющими пуговицами.

К телеграфисту обращались чаще всего важные господа, он к ним быстро привык, и уже почти не робел. Дядя досконально изучил дело, мастерски владел ключом и знал телеграфный устав назубок.

У него тогда была ночная смена. Паровозики за окошком сопели, из ресторана доносилась музыка, гуляли там по обыкновению до самого утра.

Сидел дядя Саня в своем закутке, а мысль была одна: только бы не заснуть, застанут спящим, сообщат начальству, тогда конец!

Вдруг перед прилавком господа в роскошных меховых шубах, шапки набекрень, дымят сигарами.

Описывая этих господ, дядя Саня сказал так:

Почти такие, как нынче в кино показывают, но только те были лучше, потому что настоящие, не режиссер их придумал...

Шикарные эти господа, посыпая прилавок сигарным пеплом, требовали:

— Господин телеграфист, стряпайте текст: из томского, стало быть, вокзала, в томскую же гостиницу “Россия” от Ивана Смагина,

Мусе в четырнадцатый нумер. Дражайшая Муся, целую тебя в известное тебе место... Ну и, стало быть, подпись любящий тебя Иван Смагин.

Дядя Саня ответил довольно твердо:

— По телеграфному уставу телеграммы вольного содержания принимать строго воспрещается.

— Помилуйте! говорит этот самый Смагин,— господин телеграфист, где же вы тут видите вольность? Это всё от вашей молодости лет. Вы, видимо, не знаете еще, что у влюбленных бывают только им одним известные места для поцелуев. Так вот, у моей любимой есть одно распрекрасное место, но я его не желаю расшифровывать. Так неужто я не имею права дать телеграмму своей обожэ, на свои кровные деньги?! Господин телеграфист, я набавлю вам рубль сверх того, что положено за текст.

Господа в дорогих шубах разом загалдели, зааплодировали. Дядя Саня подумал и сказал:

—Телеграмму я, так и быть, отправлю, а взяток мы не берем, это вы бросьте.

Смагин Иван еще пуще развеселился и полез через прилавок целоваться я с дядей Саней:

— Какие все же люди в Сибири замечательные! Широта души! Простор!.. Га-аспада! Вернемся в ресторан, непременно надо дернуть по одной за сибиряков, правильно говорю?..

На некоторое время веселая компания исчезла, а ближе к утру вдруг объявилась вновь, еще веселее, чем была. Иван Смагин полез через прилавок к дяде Сане целоваться.

— Господин телеграфист, вы мне понравились чрезвычайно. Фуражечка у вас новенькая, и пуговки блестят, и весь вы, как новенький полтинник. Уважьте, выпейте с нами, идемте в ресторашку!

—Что вы!— сказал дядя Саня,— с поста-то? Нельзя никак. При исполнении спиртное пить категорически воспрещено.

А Смагин всё уговаривает:

—Молодой человек, не будьте таким буквоедом. Сейчас ваше начальство десятый сон досматривает, все равно до утра вас никто не спросит. Идемте, галопом опрокинем по бокальчику “Фин Шампани”.

Прикрыл дядя Саня свою будочку на замочек и пошел с гуляками в ресторан. На сдвинутых столах валялись остатки различной снеди. Официант притащил здоровенную бутыль с золотой этикеткой, Смагин лично налил из неё в фужер и подал его дяде Сане:

— Господин телеграфист, за дружбу и любовь единым духом.

Дядя Саня и выпил всё залпом, и чуть не задохнулся, уж очень крепким вино оказалось. Смагин всунул дяде в рот зажженную сигару и дядя сразу забыл про телеграфный устав и про всё телеграфное начальство, и про то, что живет в Державе, которая любит порядок и строгость во всех государственных делах.

Вернулся он в свой закуток, сел за прилавок возле аппарата и так ему весело, словно он не в заснеженной Сибири живет под сенью Закона, а где-то на необитаемом острове. Показалось ему, что в вокзале пальмы прорастают, и само его здание, словно в вальсе кружится.

А Смагин дяде Сане текст еще одной телеграммки подсовывает. На сей раз телеграмма не местная, аж в Москву. Текст там был такой: ”Москва. Торговый дом “Смагин и сыновья”, Алексею Петровичу Смагину. Ваш сын Иван Смагин застрелился. Скорбим с вами. Томичи."

Дядя Саня руку на ключ и отстукал все. Господа смеются, он тоже смеется. Да какая жизнь без шуток? Никакая не жизнь.

Господа вышли из вокзала, уселись в экипажи и укатили. Дядя Саня тотчас под свой прилавок свалился и заснул.

Утром сквозь сон он услышал сигнал. Вскочил, взял ленту с аппарата и прочитал текст: “Томск. Господину губернатору. По поводу постигшего меня горя, прошу распоряжения вашего превосходительства тело сына Ивана доставить в Москву вагоном-холодильником, оплату расходов гарантирую, заранее признателен, коммерсант А.П. Смагин”.

Дядя Саня обалдел, припоминая текст, который вчера сам же отправил в Москву. Что же теперь делать? Порвать телеграмму? Но они регистрируются, да и Смагин-отец на этом не успокоится. Может, дать телеграмму, мол, сын жив? Так он не поверит! Вот если бы начальство такую телеграмму заверило. К тому же неизвестно куда укатил вчера сын Иван, вдруг он и вправду уже застрелился?

Обратился дядя к вокзальному чину, рассказал всё по совести. Тот выслушал его да как заорет:

— Ах ты, сукин ты сын! “Фин Шампань” это ж только так называется. Это же коньяк французский такой, в нём, может, все девяносто градусов!

Вышли они вдвоем из вокзала, дал этот бугай дяде в зубы и велел бежать в охранку, сказав на прощанье:

— Стукнул я тебя в качестве закуски к ”Фин Шампани”.

Дядя Саня бежал трусцой и думал, что только двух зубов и лишился. От тридцати двух отнять два все равно много остается, только бы в охранке еще не выбили.

В охранке за столом сидел, и что-то быстро писал человек без усов и бороды. Выслушал он дядю Саню, нажал кнопку, из стены появился “Ванька”.

— Кобылу распрягли?

— Никак-нет!

— Подавать!

Помчались в пролетке в гостиницу “Россия”, аж ветер в ушах свистел. Поднялись на второй этаж в четырнадцатый номер. Уже на лестнице были слышны визги и крики. Открыли дверь дым коромыслом! Накурено, наплевано, бутылки на столе катаются, а среди них дамочка, нагая, в одной только шляпке с перьями, канкан отплясывает.

И господин Смагин, живехонький, только еще более пьяный, чем был в вокзале, с друзьями в ладоши хлопает, такт отбивает.

Начальник охранки потребовал у Смагина паспорт. Проверил, хмыкнул:

— Хм... действительно, живой...

Вышли они с дядей из гостиницы, и дядя Саня лишился еще двух зубов, думая о том, что двадцать восемь-то у него еще есть в запасе. Хватит ему, куда их больше?

Дядю Саню с работы не уволили, только вычли у него из зарплаты стоимость длиннющей успокоительной телеграммы, которая была отправлена Смагину-отцу.

В Дачном городке дядя Саня теперь доживал свои последние годы среди великолепия сосен. Седенький старичок, неловко переставляющий ноги. Быстроногая юность! Не след поглядывать на таких сверху вниз.

В этих, ныне немощных, телах, возможно, было прежде столько энергии, сколько в вас никогда не было и не будет! Не смейся горох над бобами! Погоди, государство тебе еще не так обломает бока! И зубы выхлестнет, и кости все переломает. Да и доживешь ли ты вообще до дядиных лет? Подумай!

Сутулый, в стеганой самодельной поддевке, держался он все же свободно, говорил иронично:

— С тех пор по инерции шампанское не пью. Хотя... зубы теперь мне выбить мудрено протезы, вынул да на полку положил, с этого и пословица пошла, мол, зубы на полку. Говоришь и у тебя зубов мало? Болели? Ах, выбили! Страна такая, ни одна власть без зубодробительства не обходится. Ах, в драке! Это хорошо! Самоутверждался, значит...

Проводил меня до калитки, седенький старичок-пенсионер. А в нашем семейном альбоме дядя Саня смотрит на мир из новехонького мундира и сам он весь новенький, как только что отчеканенный полтинник. Его жизнь тоже история нашего города, не зря же отметил он освящение нового томского вокзала потерей четырех своих белых зубов.

ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ

Вечно терзают нас заботы о хлебе насущном. Часто ли вы поднимаем голову, чтобы посмотреть в лазурную высь, либо в пасмурное небо? Когда в последний раз вы разглядывали звезды ночью?

Забываем о родных близких, если они не живут по-соседству с нами. Зайти бы, обогреть словом, заглянуть в глаза. Спохватишься —поздно! И придешь, и скажешь, а услышит ли он тебя под своим холмиком?

Я мотал себе нервы по райцентрам, по районным редакциям, кровью и потом расплачивался за скудную еду и жалкое жилье. Не так уж далеко от меня, в этой же области жил последний из братьев отца, живая ниточка к прошлому нашей семьи. Я все думал: сегодня некогда, а вот уж завтра. И побывал я у дяди Сани всего два раза за последние десять лет.

В последний приезд я пробыл у стариков дольше, чем обычно.

— Паралич, кивнул дядюшка в сторону жены, —током лечу, показал он мне штуковину с ручкой и двумя припаянными к проводам пластинками.

— Пластинки лекарством смазаны,— пояснил дядя Саня, накладываю ей на больные места, ручку покручу, ток идет, она лечится.

Но ведь ток, может быть, не той силы?— усомнился я,—дозировка опять же не та, с врачом бы лучше посоветоваться.

— Чего советоваться? К нам "скорая" не едет, да и врач не спешит, раз уж восемь десятков прожили, так, скажут, больше им и не надо. Ей с табуреткой до больницы ковылять?

На руках я ее туда не дотащу, хотя было время, нашивал.

-Положим, зыркнула на него тетя Фрося, -на руках ты наверно кого-то другого носил, а чтобы меня не припомню.

—Так ведь склероз, ответил дядя Саня. —Ты на стол спроворь, соловьев баснями не кормят.

Читаю твои статьи в газетах, горжусь, ведь под ними наша фамилия... Если бы наш Коля не умер, может, инженером стал бы,—вздохнул дядя Саня.—Выпьем в память его по маленькой.

Много было у нас в семье преданий об оригинальном хозяйстве дяди Сани, которое он вел в своей усадьбе в Казанке, используя свой жизненный опыт и смекалку.

В армии дядя Саня не служил, пытались его призвать колчаковцы. Силой привели на призывной пункт, голову обрили.

Убежать было нельзя, призывников часовые охраняли.

Дядя Саня скупил у товарищей по несчастью махру и папиросы, сидел на нарах и курил всю ночь без перерыва. Потом он семечек нащелкался, чтобы табачный дух отбить. Утром комиссия была, врач спрашивает:

-На что жалуетесь?

-Легкие болят и сердце, -ответил дядя Саня,

Приложил врач к его груди трубку, а там все хрипело и булькало. Ну, и отпустили бедолагу. С неделю он отлеживался, сердце болело, а потом все в норму пришло.

Дядя Саня мыслил неординарно, из любого положения искал особый выход. Вот и когда туберкулезом заболел, тоже принял нелегкое решение.

Оставив тетю Фросю в Томске, ринулся он в казахские степи, нанялся там баранов пасти. Год его не было, а когда вернулся, тетя Фрося его не узнала. Растолстел, румянец по щекам разливается. Сходил к доктору Кузнецову, тот прослушал его легкие и говорит:

-Совсем другой человек, чем лечились?

-Кумысом, -ответил дядя,-наверно, целую бочку выдул за год! Восстановился он на работе в своей телеграфной конторе и вновь начал заниматься хозяйством.

Держали они с тетей Фросей много скотины

Бычков и телочек дядя Саня называл именами племянников и племянниц, одного пузатенького бычка с белым пятнышком на лбу назвал в мою честь Борей.

Я со своим тезкой встречался не раз, пытался прокатиться на нем, но он меня сбрасывал. А все же славное это ощущение, когда обнимаешь и гладишь мягкое, теплое существо, с большими глазами и задорным хвостиком!

Дядя Саня хотел разбогатеть, он решил держать свиней не в хлеву, а на воле. Они у него бродили, где хотели, а ели, что найдут. Отрубей для них он не покупал, деньги зря не тратил.

-Назьма на дорогах много, нажрутся, -говаривал дядя Саня.

Свиньи у него были поджарые, прыткие и злые, как собаки, одного из соседей даже чуть не загрызли. Дядя откупился от него, пообещав дать свиную ляжку, когда будет колоть боровка.

Некоторые соседи посмеивались над таким способом откорма, а зря, был в этом все-таки смысл. Недели за две до забоя дядя Саня начинал поить своих шустрых боровков бардой, и они быстро набирали в весе, хотя, конечно, подлинной упитанности достичь не могли.

У дяди Сани была мания -лечить всех и от всех болезней своими домашними методами. Из всех лекарств самым могущественным он считал деготь, ибо вырос в лесном поселке, где как раз и гнали деготь и скипидар.

Однажды летом приключилась в наших краях дизентерия. Дядя Саня поднес тете Фросе и брату Сергею коктейль из денатурата, скипидара и дегтя. Он считал, что дизентерию такой состав мгновенно убьет.

Когда тетя Фрося и дядя Сергей свалились без памяти и побелели, как мел, дядя Саня кинулся за доктором Кузнецовым.

-Если еще кого-нибудь своим снадобьем попотчуешь, в тюрьму упеку, —сказал дяде Сане доктор Кузнецов.

Долго он отваживался с тетей Фросей и дядей Сережей, Вызвал у них рвоту, давал им сердечные средства и желудочные микстуры.

Братик Коля часто оставался один, ибо дядя Саня и тетя Фрося вечно были заняты огородом, уходом за скотом, пасекой.

Чтобы Коля не добрался до коробков со спичками, до печи, где в котле прела барда, дядюшка сшил сынку специальный пояс, к которому пристегивалась цепочка, ограничивавшая Колино передвижение по комнате.

Мать на чем свет костерила родичей за это изобретение:

-Вам ребенок собачонка что ли?!

-Все мы в жизни чем-нибудь ограничены! оправдывался дядя Саня -цепка длинная, даже бегать можно, на ковре —игрушек сто штук!

Я любил играть с маленьким братикам в доме дяди Сани, приглашал малыша к себе, да его родителям всегда было некогда.

Однажды они все ж привели Колю к нам, пес Маркиз встретил братца рычанием, Коля заревел, а я стал катать по полу деревянного козлика, пытаясь отвлечь братца, —Смотри, Коля, козел!

После, когда мы бывали у дяди Сани и приглашали Колю к себе, он неизменно отвечал:

—Упаси бог, козёль боюсь!

Однажды доктор Кузнецов обнаружил у Коли туберкулез. Мать моя была возмущена и называла моего дядюшку извергом и козлом деревенским, жлобом. Дядюшка, как мог, оправдывался. Коля вскоре помер.

Горю дяди Сани не было предела. Виноват ли он был?

Он жил хозяйственными химерами. Все мы иногда идем за мечтой, а когда приближаемся, видим: это был мыльный пузырь, а настоящее осталось где-то в стороне, мы прошли и не заметили.

Больше детей у тети Фроси и дяди Сани, к сожалению, не было.

А тетя Фрося не так просто дяде досталась.

Когда у братьев Климычевых умер отец, они пригласили экономкой шуструю деревенскую девушку с черными маслянистыми глазами.

В один прекрасный день между семнадцатилетним Александром и младшими его братьями Константином и Венедиктом произошла шумная ссора из-за милой Фроси. Возникла драка. Все они претендовали на сердце тети Фроси. А она никак не могла выбрать из этих трех сердец одно.

Женился на девушке Фросе все же дядя Саня. Как старший и обеспеченный.

Когда они жили в Казанке и тонули сверх головы в своих хозяйственных делах, у них прижилась в качестве работницы Дуся.

Впоследствии тетя Фрося ревновала мужа к домработнице. Говорили так же, что родила Дуся от дяди Сани ребенка, но случилось это уже после того, как она ушла из этой семьи.

Стало быть, где-то живет еще один дяди Санин сын, хотя фамилия у него и другая.

Теперь, в тихом домике в Дачном городке, сидел передо мной седенький старичок, который так заботился о своей старушке.

Дядя Саня привстал, сдвинул сторону занавесочку, посмотрел в окно, я проследил за его взглядом.

За окном мерцал заснеженный бор. Удивительно прямые и гладкие стволы сосен возносили к небесам свои кроны, стволы были похожи на мачты бесчисленных кораблей, поднявших зеленые паруса перед отплытием в будущее.

И даже сквозь двойные рамы слышалось поскрипыванье деревьев при порывах ветра. Сосна, росшая рядом с домом, терлась стволом о крышу, издавая совсем уж корабельные звуки, казалось: и я, и дядя Саня, и тетя Фрося отплываем в неведомую страну.

У основания сосен кора была грубой и пористой, а повыше золотилась тонкой пленкой, которая шелушилась кое-где, как кожа после сильного загара.

Очень похоже это на тот сосновый бор, где дед твой основал поселок, и где потом родились все мы, —и я, и твой батя, и остальные братья.

Дядя Саня вновь наполнил рюмки.

-Хватит! -сказала тетя Фрося, завтра опять будешь с головой и сердцем мучиться...

После, укладываясь спать на старую собачью доху, постеленную возле печи, я все пытался представить деда, который был тогда двадцатилетним парнем, вступившим в самостоятельную жизнь.

Каким он был? Его фотокарточку я видел в детстве у нас дома, но уже забыл его облик, фотокарточка та давно потерялась, у дяди Сани тоже не сохранилась.

Еще моя память высветила старинные открытки, которые я когда-то читал, лежа в гостиной, на медвежьей шкуре. На красочных кусках картона черной тушью были начертаны четкие бисерные строки. Меня изумляли обращения: Госпоже... господину...

Помню, отец объяснял, что так в прошлом обращались друг к другу и люди далеко не занятые, слышать это было странно... И вот какой-то господин поздравлял госпожу с Рождеством Христовым, а она его в свою очередь с днем ангела! Может, какую-то из этих открыток и получил дед Николай Федорович в ту пору, когда основал поселок в лесу?

Я заснул и мне приснился старинный Томск, с купцами, извозчиками, золотоискателями, такой Томск, каким он был в пору молодости дяди Сани,

Проснулся, услышав голос тети Фроси.

—Изба-то настыла, господи, боже мой, -трубу-то забыл закрыть, черт старый! Сколь дров вчера сожгла, и на тебе!

Я подумал: ладно, хорошо, что холод разбудил меня так рано, поспею к первому автобусу, надо сегодня утром добраться до Шегарки работа не ждет.

А к старикам я еще не раз приеду, буду навещать их каждый выходной, —что мне стоит переехать две великих реки?? Помочь старикам по хозяйству, может, дровишек поколоть, то, се...

Дядя Саня поднялся:

-Ну, не ворчи, не ворчи! Заговорились вчера, бывает, склероз к тому же. Нам-то что? В избе. А вот Лордик на улице ночует, и то не лается.

Дядя Саня придержал свирепого Лордика за цепь, я вышел, покряхтывая, дядя Саня двинулся за мной:

Видал, какой у меня Лордик упитанный? Как ты думаешь, отчего?

—Отчего же? —

— Дойдем до того бугра, ты встань в сторонке и смотри. Только не подходи, смотри и все.

Сосновый бор кончился у крутого обрыва, внизу были заливные луга теперь покрытые высокими снегами, дальше река Томь, за нею городские строения.

Здания, дворцы было трудно узнать отсюда. Дело в том, что в прошлом архитекторы хитрили: они всячески украшали фасады, а обращенные к реке спины дворцов представляли собой просто глухие кирпичные стены.

На высокой, бывшей Воскресенской, а ныне Октябрьской, горе поднимала к небу свои купола Воскресенская церковь. Её купола недавно позолотили, они торжественно блестели в разливе зари.

Дядя Саня стоял, сняв шапку, было морозно, я хотел ему сказать, чтобы он немедленно надел шапку: простудится! Он сделал мне знак, мол, говорил же тебе не подходи.

Дядя Саня придерживал за лямку, надетую через плечо, большую холщовую сумку. Его седые волосы располагались вокруг лысины вроде нимба.

Я увидел, что к дяде Сане подошла старушка, сунула ему в сумку кусок пирога, пробормотала что-то. И пошло. К дяде подходили старухи старики, женщины, а иногда и дети, и каждый что-либо совал ему в сумку кусок хлеба, ватрушку, блин. Дядя кланялся, и бормотал, по-прежнему глядя вдаль, за реку, на огород. Мне показалось, что смотрит он именно на Воскресенскую церковь...

Кровь прилила у меня к щекам. Что это? Нищенствует?! Да неужто им с тетей Фросей так уж трудно живется? У него же, у дяди, должно быть, пенсия хорошая.

Наконец дядя надел шапку и вперевалочку подошел ко мне.

-Вы что! спросил я его сердито.

-Ничего, ласково улыбнулся дядя Саня, -я их не заставлял, сами придумали.

-Что придумали?

— Ну, все это... Лордика подкармливать. Я, понимаешь, дал себе слово каждое утро воздухом дышать. Заставить себя пойти гулять трудно, ноги не гнутся, суставы ломит.

А мне нужен моцион до завтрака. Человеку всегда проще, когда есть цель. Скажем, охотник до сорока километров пробегает по тайге, гонясь за каким-нибудь паршивым рябчиком, так-то он бы ни в жисть эти сорок километров не прошел.

А мне нынче каждый пройденный метр дорог. Я цель поставил каждое утро доходить до обрыва и наблюдать восход солнца.

Я стою, смотрю: вот солнце купола золотит, вот поднимается выше. Вот креста коснулось. И все это так красиво, торжественно, что я снимаю перед солнцем шляпу, ну, шапку то есть.

А эти, (дядя подмигнул в сторону поселка) решили, что я вроде блаженного. Просят: помяни рабу Пелагею, раба Ивана, раба Эдика. Я соглашаюсь, зачем людей радости лишать? Я Лордику их постряпушки даю и говорю, мол, это за Пелагею, это —за Эдика. А он, Лордик, хвостом виляет, поминает...

Он проводил меня до остановки.

Я трясся на заднем сиденье и думал, что —жизнь человеческая? Что сделал дядя Саня на свете? Что мог бы сделать? Он так живо вчера рассказывал о своем детстве. Там под Саратовом, в лесном поселке, катался мальчик Саня на пони, баловался. Однажды, увидев беременную женщину, подумал, что это урод такой, да и спустил на нее собак. Мать отдала страннице свои старые платья и шали, замазала ей укусы йодом и забинтовала.

В другой раз служанка вздумала ворожить под новый год. Сделали на воротах для нее ящик типа скворечника, с отверстием посередке. Велели бросать оттуда башмаки, а уж кто подберет, тот и суженый. Дядя Саня с дядей Костей, тайком от взрослых, подперли дверцу скворечника, держали девушку взаперти, пока с ней истерика не сделалась.

А теперь вот -такой благообразный старичок.

Не зря дядя Саня свою собаку Лордом назвал. Ясно, что это отзвук тех дней, когда жил он неподалеку от нас в деревушке Казанке, нашу собаку звали Маркизом, а соседскую Милордом, вот дяде Сане это вспомнилось.

Уехал я, закрутился в делах, забыл свое обещание в скором времени навестить престарелых родичей. А когда вновь приехал, то узнал, что дядя Саня и тетя Фрося умерли.

Вспомнил я, что не успел расспросить дядюшку о многих важных вещах, все думал успеется. Теперь уж не спросишь... ведь он был самый старший отцов брат, надолго переживший всех остальных.

Похоронен он на кладбище в Дачном городке. Оно разрослось, подступает к строениям и к дороге. А помню, катался я в этих местах на стареньком велосипеде. Удивительные сосны растут на песчаных, мшистых холмах. Ах, какие мхи здесь! Осенью, когда грязь, среди этих сосен можно ходить хоть в лакированных ботинках.

Холмы, увалы без края и конца. Где по гребню, а где и в низине виляет тропинка, усыпанная хвойными иголками. Спустишься в низину, начинаются заросли подроста, кустарников, осинок, взлетишь, влекомый силой инерции, на холм —вновь замелькают прямостойные сосняки. А воздух как масло.

Едва можно было разглядеть несколько кладбищенских холмиков по краю оврага. Теперь тут перенаселенность, яблоку негде упасть. Вот закроют погост и полезут организации, да и частники строить дома бетонные, заводы, изрыгая химию.

Наивные аборигены выбрали под кладбище холмы да ямы, мол, строить тут невозможно. Ради места, сроют даже горы высокие. Рано или поздно доберутся и сюда.

Люди! Люди! Неужто живем мы, как бабочки-однодневки? Проходим, как трава?

Ау! Дядя Саня! Слышишь ли ты меня?

Не ответит. Только бор шумит величественно и равнодушно.

ПРОЩАНИЕ С ДОМОМ

Дом на Тверской пять я покинул зимой 1942-го года. С тех пор в этом доме сменилось много разных жильцов. А дом этот всегда жил в моем сердце.

Жизнь мотала меня из края в край. Жил я на Дальнем Востоке, в Туркмении, на Украине, на Кавказе, на Алтае, в разных российских областях. Жил в городах и селах. И нередко мне снился мой дом неподалеку от Ушайки.

Вернулся в Томск, не сразу, но получил-таки квартиру в девятиэтажке, построенной неподалеку от родного дома.

И стал я приходить к нашему старому двухэтажному, наполовину деревянному дому с фотоаппаратом "Зенит". Приду, снимаю. Вышли раз два парня с наколками на руках, стали демонстративно писать на стену дома, вот, мол, снимай! В такие старые дома, без благоустройства, нынче кого только не селят.

Узнал я, что в бывшей нашей квартире живет Махоня. Служил в милиции, был в чинах, стал "употреблять", расстался с милицией, а заодно с женой.

Я увидел, что жилец он аховый: окно, выходящее к горе, забил наглухо, "чтоб теплее", к стене приделал загон из безобразного горбыля. Окна, глядящие на улицу, были побиты и грязны.

Решил попроситься у него -побывать в наших комнатах. У Махони во рту два зуба: вверху и внизу, оба черные. Глаза выцвели, в них нет смысла:

Ты здесь жил? Ты не жил, Федька жил. Раньше? До Федьки Максимовна жила, а тебя не видели. Чо смотреть? У меня нет ничего, нечего смотреть. Нет!

Мозг его был утомлен и он не мог сообразить, что в этом доме люди жили не только в позапрошлом году. Что ему втолкуешь про детство, про память? У него нет памяти, обходится!

Потом его положили в больницу, а квартиру нашу "забили". Вот, может, кто-то разумный там поселится, так пустит меня подышать воздухом детства.

Однажды пришел на Тверскую пять, а дом-то сломан. Лестницу, в которой было тринадцать ступеней, а потом приделали на счастье четырнадцатую, утащили на дрова, еще бы -древесина -порох! И все деревянное ободрали. Двух стен нет. Я смог пройти в свои комнаты, поднявшись по косогору. Это не комнаты уже, а две уцелевших стены и потолок. Вон крюк, на нем висела моя зыбка. Ай-ай! Скоро дом разберут совсем.

Позвонил я в Новокузнецк Боре Рахманову. Раз в год он обязательно наезжал в наш древний город, чтобы порыться в поломанных домах. То наконечник стрелы найдет с двумя лезвиями (семнадцатый век), то еще какую-нибудь старину. Борис сказал, что зимой мой дом доламывать не будут, а уж весной он ко мне прилетит, как ласточка.

Увы, дом разломали зимой. Кругом частники, стройматериал нужен, станет тебе частник весны ждать. А то бы, может, тезка отрыл бы в полуразрушенном доме что-нибудь из моего детства.

Все ушло. Хоть бы крюк из потолка мне достался. Так нет! Ничего. Только воспоминания. А сколько тут было в этом доме слез, горя, радости. Сколько крови пролилось? И нет ничего. Построят другое что-нибудь. Говорят, "Конфетка" будет расширяться в эту сторону. А может, особняк кто забабахает.

Вот тут, во дворе, отец после работы катал ребятню на велосипеде. Сядешь на раму, он тебя придерживает, катает по кругу, тяжело дыша над твоим ухом, покрикивает: "Индия! Америка! Китай!"

Индией был сарай, Америкой сортир, а Китаем называлась та сторона двора, где в избушке жили Ван Дзины. Три круга по двору. Следующий!

Малышня выстраивалась в очередь. Если я пытался проехать без очереди, отец брал меня за ухо и ставил в самый конец ее. А мать кричала из окна:

-Сколько можно? Суп уже остыл, что я без конца его подогревать буду? Вернулся с работы и хреновиной занимается

Как давно это было! Да было ли? Летишь в поезде, катишь в автобусе, знакомое до боли лицо мелькнет. И уже фантазия работает: отец вовсе не погиб на фронте, в плену был, потом за границей обитал, а теперь вот вернулся.

Бесплодные мечты! Теперь он все равно бы уже помер. Возраст. И других нет. Бабушка до девяноста лет держала корову, сама косила сено. Тетя Шура скончалась в доме инвалидов от старости. Дядя Костя умер от рака, дядя Сережа от болезни печени и сердца, мать -от инсульта. Давно умерла и Ушайка, стала она городской сточной канавой и смердит.

Я лишь упомянул в повести о дяде Венедикте и тете Лиде. Так, на снимке кто-то получается отчетливо, кто-то не резко -на заднем плане, от третьего торчат лишь один глаз и ухо, а иной и вообще в кадр не попал. Его сфотографируем потом, если, конечно, хватит пленки.

Дядя Петя преподавал в Новосибирске в военном училище и дослужился до майора.

Однажды в ресторане ему сделал замечание полковник, и дядя избил этого нехорошего начальника. И Петра Ивановича посадили.

Было от него письмо об этом, а потом он, как в воду канул.

Но, однажды, читая журнал "Огонек", увидел я на задней обложке цветное фото. На залитой солнцем веранде турбазы стояли красивые девушки, а внизу на тропе стоял с лыжами на плече мой милый дядюшка, заметно постаревший, но по-прежнему мужественный и импозантный. Время как бы говорило: чего вы на меня обижаетесь? Некоторым гражданам я лишь добавляло шарма.

Спортивный костюм на дяде был добротный, дядя делал приглашающий жест рукой, указывая на заснеженные вершины. Фотоэтюд так и назывался: "В горы!"

Написал я в редакцию несколько писем, мол, не знает ли фотограф человека, которого он заснял? И где именно снимок сделан, и что за горы на нем виднеются? Сообщите -уплачу вам хорошо! Ответа из редакции я не дождался.

Так и живет во мне дядя Петя в расшитом оленями ярком свитере, с лыжами на плече, он призывно указывает на далекие сияющие вершины.

Томск, 1994 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Тверская пять .....
Дядя Володя .....
Крестьянская баня.....,.....
Самсон из Скобяного .....
Томские чудеса .....
Первый камушек .....,
Дом Костана и Коляна .....
Моментальный портрет.....
Моя детская кроватка .....
Иероглиф ФУ.....
Пепел Ивана .....
Четвертое событие....,.....
Вечер был, сверкали звезды .....
Прекрасная Маркиза .....,.....
Угар .....
Последнее танго ....,.....,
Улица Равенства.....
Мастера первой руки .....
Отношение к медицине.....,,.....
Герценая баня .....
Фин Шампань ....,....., ..
Последний визит.....
Прощание с домом.....,.....